

Александр Покровский

КОРАБЛЬ ОТСТОЯ

проза ИНАПРЕСС

А. ПОКРОВСКИЙ

КОРАБЛЬ ОТСТОЯ

рассказы и другое



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАПРЕСС

2003

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
П 48

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская



ISBN 5-87135-144-1

© ИНАПРЕСС, А. Покровский, 2003

ОТ АВТОРА

Был такой случай после выхода книги «Расстрелять!». В лицо меня и сейчас никто не знает, а тогда и подавно. Один из военных, покупая у меня в издательстве книги, рассказывал мне же, что сам Покровский никогда не плавал и всю жизнь провел на берегу. Я слабо возражал: «Но мне кажется... достоверность передачи материала...» — «Уверяю вас, — говорил он с небывалым жаром, — Я его хорошо знаю. Обыкновенная тыловая крыса!»



КОРАБЛЬ ОТСТОЯ

рассказы начала XXI-го века

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Размышления

О груди, конечно.

Естественно, о женской.

С некоторых пор меня волнует ее упругость.

То есть, мне небезразлична ее способность восстанавливать свою первоначальную форму при надавливании.

И не то, чтобы эта способность вызывает сомнение, — нет!

Просто она не может не волновать.

Вот видишь грудь (там еще ямочка такая посередине), а потом тебя так и тянет залезть туда пальцем.

А раз залез, то нажал.

А она поддается.

А ты еще надавил,

и она еще раз отозвалась.

Происходит некоторый даже немой разговор между пальцем и грудью. Он ей: «Сударыня, тут такая теснота и совершенно невозможно, чтоб не прижаться».

А она ему: «Не сомневаюсь относительно тесноты. Это так понятно».

И еще я замечал, что после надавливания остается вроде бы след, видимый только при внимательном очень близком изучении.

Он остается, как надежда на повторное нажатие, и таким приглашением невозможно не воспользоваться.

Воспользовался — получилось.

И вот здесь уже возникает небрежение.

У пальца.

Ему начинает казаться, что так будет всегда: надавливание, вслед за тем ожидание последующего надавливания, и как следствие, еще одно надавливание. Таким образом, образуется привычка, губительная и для груди и для пальца.

Палец лишается трепета, а грудь утрачивает способность усваивать этот трепет.

И еще о пальце.

Палец должен искать сосок.

И еще о соске.

Не знаю, что на меня находит, если я сперва вижу сосок, а потом уже его ощущаю. Какое-то необъяснимое, я полагаю, воспламенение, скорее всего.

Я пытался разобраться в этих своих чувствах, но не вышло ни черта — просто мысли разжижение.

Он еще сморщенный сначала, потому что холодно, понятное дело.

Особенно если его покрывает влажная рубашка белого батиста, которая потом топорщится на бедре.

Осторожненько ее снимаем, шепча всякую пришедшую в этот момент на ум глупость, например: «Милая моя,

да мы же совсем замерзли и окончательно окоченели», — после чего следует вышеупомянутое надавливание на грудь, отчего сосок укрепляется, после чего его следует попробовать губами.

И вот тогда-то, и происходит то самое разжижение мысли, о котором мы и собираемся поведать.

Течение ее происходит неровно, рывками-отрывками, среди которых находятся и такие: «Метаморфоза прозаического опыта... мама моя родимая... музыка, как искусство вообще.. ым... обнаруживает свой монотематический бред.. ам...» — и прочие.

Просто нет слов.

ЖИРЫ

В человеке струятся жиры. Соки в нем тоже струятся, но жиры — тут дело особое. Они отвечают в человеке за ум.

То есть, жирный человек — это умный человек.

А все почему? А все потому, что жир участвует в передаче нервного импульса. Я помню об этом всегда. Особенно когда смотрю на Леху Батюшкова и на нашего командира. Оба жирные, как алтайские сурки, и умные, как они же.

И еще они легкие. Жир — он же вообще легче, чем мясо или же кость. Леха, например, тот вообще ничего не весит, так как он еще и маленького росточка.

Командир у нас значительно больше, чем Леха, и тяжелее, то есть, ума в нем больше. Гораздо.

А что можно придумать от большого ума?

Многое можно придумать. Например, можно придумать не пускать различных негодяев перед автономкой домой с родными попрощаться.

В негодяи попасть очень легко. Надо только сказать что-либо командиру, что ему очень не понравится, и тогда он отберет у тебя пропуск на выход из зоны, и будешь ты целоваться со своими любимыми слишком тонкими губами через очень колючую проволоку.

Ею у нас вся зона режима радиационной безопасности, где мы у пирса прохлаждаемся, целиком обнесена.

Это еще один умный человек придумал. Зовут его командующий. Он тоже жирный.

А Леха командиру что-то, все-таки, сказал, я полагаю, перед самым отплытием, за что он ему тут же: «Ваш пропуск из зоны!» — и Леха его отдал.

Опрометчиво, согласен. Потому что я бы ни в жизнь не отдал. Вот режь меня на куски.

Режь меня на части, а потом ешь.

Хрен. Я бы сказал, что я его потерял. Вот прямо тут же, в снегу, сейчас только ножкой поищу, поковыряю. Хотите, обыщите.

Но Леха отдал. Видимо, растерялся. Но после он в себя пришел и пошел, так решительно, я просто не могу, решительно пошел с пирса, и напрямиком к колючему забору, к нему. А потом и побежал, побежал с мычанием, с ревом, со слезой, со страданием, с пеной, потому что ум затмило.

И было во всем этом что-то величаво звериное и красивое, как мясное ассорти.

Мы сразу почуяли вот это неладное, и припустились за ним. А он к забору несется, ни за что не догнать. Мы пыгались, но никак. Никаких внутренних сил, одно камлание.

А Леха подбегает, а там проволоки на три метра в высоту, и со всего разгону на нее прыгает, чтоб с разбегу, я полагаю, вломиться и порвать, но в прыжке поворачивается спиной, чтоб не рожей вломиться и порвать, а шинелью.

Он и вломился.

И повис на проволоке, как муха, потому что она — проволока та колючая — в шинель по всей спине и по заднице глубоко себе вошла, — я же говорил, что он легкий.

И висит. Воет.

Тут и мы подоспели. Мы — то есть, я и те всякие прочие негодяи, лишённые на сегодня пропусков за разное такое.

Я на бегу каким-то дрыном вооружился, а ребята с пожарных щитов ломы похватали.

И как набросились мы на ту проволоку, как набросились. Леху освободили, и еще ей, и еще, с криками и со словами разными.

Некоторых еле потом в сторону оттащили, где ломы и отобрали.

После чего мы домой пошли. В тот пролом. Всей гурьбой.

ПОЛЕТ

Остается восемь километров. Двадцать два мы уже пробежали. Ничего не шло — ни машины, ни шаланды, и ночь. Вот мы и побежали. Человек пять. Я впереди. Я — лейтенант, а за мной каптри и капдва, остальные капитаны. Не то, чтобы я вперед полез, все само собой получается. Я почему-то знаю, что пойду впереди, и все остальные как-то с этим соглашаются. Просто ночь, ни черта не видно, и кому-то не по себе, а тем более снежный заряд налетел. Все встали, как вкопанные: «Не останавливайтесь! Я знаю дорогу!»

Да, ничего я не знаю. Знаю только, что нельзя останавливаться. Вперед! Вперед! У меня будто что-то включает-ся, и я лучше чувствую, вижу, и не боюсь ни черта. Не боюсь сбиться с пути, не боюсь замерзнуть. Это как полет, что ли. Ты, словно летишь.

Или когда пожар. Меня, как подменяют: я хорошо соображаю, когда пожар, или вода в отсек. И все тут же становится на свои места. И в отсеке все только меня слушают. Кончится все это, и опять появятся старшие и командиры, но как только что-то серьезное, все исполняют то, что я скажу. Я просто знаю, что надо делать. Это помимо меня существует. И делает меня собой.

А в обычной жизни я никуда не лезу. Не мое это все. Мое начинается, когда у громадных, очень сильных людей вдруг из рук все валится. Я сперва думал: чего это они,

самое же время встать и все возглавить, а потом до меня дошло: если на вид ты очень сильный или должность у тебя высокая, так это на самом деле ничего не значит.

А значит только то, как ты себя ощущаешь, когда со всех сторон к тебе чей-то страх подбирается.

А сил в тебе сразу в десять раз больше становится. Я потому и в драках никогда не участвую. Потому что в ярости человека за горло одной рукой могу поднять.

Уже было.

О ГЕНКЕ

Высокий, худой Генка Родин. Он сейчас пишет докторскую. Про него судачат, говорят, что он тупой и какая тут докторская. И еще про него много всякого говорят, а я слушаю, не возражаю, не перебиваю, даже киваю: «да, да, верно», — хотя верно совсем не то, что они говорят, но им все равно не объяснить, что Генка — мой друг, и чтоб он там не делал: докторскую писал или юродствовал, — все равно он останется моим другом, как и тогда, в казарме, когда наши койки стояли рядом и я, просыпаясь ночью, слышал, как он сопит во сне, как и тогда, когда мы с ним ели из одного бачка и каждый следил, чтоб ошметки мяса делились поровну, а когда на пятом курсе в воскресенье нам стали давать на завтрак по одному яйцу, то я ему свое отдавал, потому что уходил домой в увольнение и все равно ел там, а Генку никто не кормил, а я ему из увольнения приносил чего-нибудь вкусненькое — бабушка наготовит — и скармливал. А он ел жадно, только что не давился. Он меня называл «Сашуля», а я его — «Генуля» — в шутку, конечно. А теперь говорят: он же тупой. Глупые они. Генка все время пропадал в лаборатории, все что-то делал. Ну, да, может и не великого он ума, и мне, шалопаю и оторве, все давалось гораздо легче, и если б мне это было хоть чуть-чуть интересно, я бы, наверное, был академиком, но мне подавай приключения и всякие такие штуки, похожие на то, как я останавливал собой автобус: тогда автобусы шли мимо училища, но курсан-

ты не платили, а набивались доверху, и шоферы делали рейс, получается, бесплатно, и автобусы старались проехать мимо училища на полной скорости — ни все, понятно, но если их три проходит подряд, то звереешь, поскольку у тебя отбирают святое время увольнения.

И я вставал у него на пути, и вот он несется на меня, — у кого первого не выдержат нервы — и я смотрю ему в глаза и понимаю, что у него — он тормозит на десять сантиметров до моего бушлата, и толпа врывается, хочет его бить, но я вошел и сказал: «Не надо!», — а Рафик Фарзалиев стоял тогда и бубнил: «Саня, перестань! Саня, перестань!» — а Генка: «Ты — чокнутый! Точно! Ты — чокнутый!» — а я смеялся, потому что это мои друзья и это я для них так по-дурацки, останавливал автобус. «А если б у него тормоза отказали?!» — ну, если б, да кабы...

А потом на севере, когда я оставался ночевать на снегу, Генка находил меня и вел к себе домой — он служил на берегу, а я на лодке, но ему дали квартиру — маленькую — и у него не было жены, и потом, когда уже была жена, а квартира была двухкомнатная, он опять находил меня где-то в подворотне и вел к себе, а я играл с его сыном и ночевал, и его Надя кормила меня макаронами, которые я терпеть не могу.

Это Генка перетянул меня на берег. Это он звонил, хлопотал, а они говорят, что он такой и сякой. Это он однажды отбил Эдика Агамерзаева у каких-то бандитов на вокзале, которые подумали, что если Эдик на лицо черен, то это конкурент по спекуляции билетами, а Эдик — мастер всяких восточных единоборств — растерялся, а может это на него подействовали бесчисленные проверки у него документов — Эдика все время куда-то волокут и там он доказывает, что он — офицер и за Россию.

Генка налетел и раскидал всех, а потом, когда все уже лежали, сказал: «Пойдем отсюда Эдуард!» — а он же худой и тощий.

Так что они не правы, когда говорят про его диссертацию и все прочее. Но я киваю: «Да, да, конечно», — потому, когда думаю про Генку, у меня невольно на лице улыбка и это им не объяснить.

ГЛАЗА

— Товарищ курсант! Почему вы в таком виде?

А в каком я виде? Меня только что остановил патруль. Вроде, нормальный был у меня вид.

И начал я себя оглядывать. Господи, да я же весь рас-терзан, рубаха порвана, какие-то красные тряпки из меня торчат.

Я поднимаю глаза на начальника патруля и застываю от ужаса: у него рога растут. Прямо из головы. Огромные, как у быка.

Нет! Уже, как у оленя.

И изо рта у него торчит алый, жадный язык.

Я весь пошел в пупырышку. И каждая моя пупырышка была размером с око вепря. А он говорит, губы шевелятся, но я его не слышу, и двинуться не могу.

В эту минуту я и проснулся.

В училище я все время сплю: на занятия, дневальным, завернувшись в бушлаты, что на вешалку повешены, в аквариуме на КПП, стоя у батареи в сушилке — там спит тепло. Даже на физзарядке сплю. Бежим в строю, а у меня сознание пропадает.

А после физзарядки я уснул в умывальнике с зубной щеткой во рту.

Ну, а в метро сам Бог велел. Я однажды стоял и, все время, вырубался стоя.

И в очередной раз заснул покрепче и равновесие, естественно, потерял. Стал падать. Но «асфальт» до конца не поднялся, я выставил ногу. А народ, ну, хоть кто бы схватил или поддержал бы как. На худой конец разбудили бы. Так ведь нет, все просто бросились врассыпную. И потом как не в чем ни бывало: стоят смотрят дальше.

А однажды захожу в вагон, как обычно берусь за поручень, стою и всматриваюсь в свое отражение в окне и хаотично вспоминаю какие-то свои диаграммы. Мой взгляд сползает постепенно на поручень и у меня...

Короче, удивлению моему просто нет предела. Поручень ДЕРЕВЯННЫЙ!!! Я уже хотел возмутиться: ну, думаю — вообще!!!!!!

Что они с ума в метрополитене все посходили, что ли!!! Потом поднимаю взгляд повыше, а это грабли дачник везет. Встретились мы с ним — глаза в глаза. Я как ошпаренный руку отдернул. Очень они у него грустные были. Глаза эти.

Вот.

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Это опять я — полный мичман с «Разумного». Сейчас я вам про учение расскажу.

Авачинский залив. Апрель. Вдали — гряда гор и вулканов. Величественная панорама боевого бытия. С трех сторон — ледяная вода Тихого океана. Почти штиль. На «Разумном» учение: «человек за бортом». Участники: ящик из-под тушенки и шлюпочная команда. Все, как обычно: полетел ящик, сыграли тревогу. Шлюпочная команда построилась — «шкафут, правый борт!». Замерли, проверили жилеты, снаряжение, посадили команду в шлюпку, предварительно сбавив ход корабля. Включили лебедку и, шлюпку с командой, начали опускать.

А тут волна одиночная, сволочь, ударила в нос шлюпке, полное гадство. Отцепился носовой гак, и ... из шлюпки все, как бутылки с сиропом, высыпались в ледяную воду.

И ход корабля, вроде, самый малый, но люди мигом уже в смутном далеке пенистого кильватерного следа...

Мама моя, маленькие-то какие, оранжевые человечки в черных шапках (у кого они все еще есть).

Жуткое, незабываемое зрелище. На секунду все оторпели, если не сказать больше, а как тут не сказать, конечно, все сказали, а потом стали кидать что попало, например, спасательные круги.

Первым круг бросил Саня Мордюков. За его круг потом все и держались.

Надо что-то делать — катер не работает. Подняли шлюпку за кормовой гак — а весел, естественно, на ней давно уже нет.

Приняли решение: дать задний ход тихонечко и поднять крышку ПОУ-КБ — нашего гидроакустического чуда, а там палуба почти вровень с водой.

Время идет. Командир БЧ-3 от нетерпения сходит с ума, топчет палубу и орет на командира не словами, а чем-то другим: в шлюпке были его люди. Командир командует и сидит быстрее обычного. Подработали, наконец, кормой к ребятам, а они уже никакие — глаза слюдяные, лица сосредоточенные.

Их цепляют баграми и вытаскивают на палубу — мокрые кули. Запомнилось: матросу Подпрыгину подали конец, чтоб он за него схватился (наивный народ), а он гладит его скрюченными пальцами и орет стоящим у кромки борта командиру, старшему на борту и прочей шушере: «Пидарасы! Пидарасы!» — и те не против, со всем согласны, им лишь бы морячки сначала спаслись, а потом бы, конечно, лучше б выжили. Ибо купаемся уже пятнадцать минут.

В общем, Царица Небесная, и в хвост, и в мочало, и в рот, и наоборот, всех спасли.

Через неделю в прибрежной газетке написали о героическом поступке старшины второй статьи Касьянова, который после падения всех сплотил. Может, так и было. Парень-то хороший. Он мне потом про один и тот же сон сто раз рассказывал: по гланды в воде и перед носом удаляющаяся корма корабля...

О КАРТИНАХ МИРА

Исследуя картины мира, испытываю оргазм. При этом закатываются глаза.

Они закатываются сами, никаких особенных приспособлений для этого не требуется, потому что внутри тебя происходит как бы саморастворение.

Ты словно паук, выпустивший желудочный сок в жертву, но только эта жертва ты сам.

И ты, по всей видимости, действительно растворяешься, или что-то около того, оргазмируя в недалеком последствии, поскольку при этом внутри тебя все пространство чуть ли не вакуумируется в силу различных осмотических глупостей, — а чего же еще, — и глаза с neodолимым стремлением втягиваются вовнутрь, то есть, туда, то есть, сюда, то есть, туда-сюда, а потом закатываются, после чего и следует то самое само-семя-извержение, — вот такие коврижки — так как давление глазных яблок поэтапно с печени на печень передается нашим яйцам, ядрам, жадрам или кочанам, если угодно.

И все это после того, как я прочитал в одном полунаучном издании следующее: «Семантика тотемов... коррелирует онейроид батального...» — и это все равно, как если б я положил твой сосок себе в рот, а потом уже со мной приключилась вся та ерунда, о которой я только что написал.

Целую тебя всю, так как совершенно нет времени разбираться, где там у тебя губы.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

Как-то позвонили ко мне компьютерные игры, в смысле, люди, которые их делают, и попросили они оживить им текст. То есть, пишут они рыбу, а я в нее жизнь вдыхаю. Причем, на каждый случай два текста: первый всегда на удачу, то бишь, на удачное завершение игры, а второй — на поражение. Действие происходит в 25 веке на чужой планете, где наши воюют с уродами, с гордым именем «велерианцы».

Я эти тексты потом для себя оставил. Так, читаю иногда. Они, как телеграммы в одну сторону. Вот они:

«Захватили и раздолбали! То есть! Захватили Базу Танго, а раздолбали ударную танковую группу противника в секторе 14.10.3.

А кто сомневался? Мои ребята! С меня ванильные коврижки! Всем участникам на два часа под ионный душ.

Тыл? Кстати, когда можно будет пользоваться душем без риска досрочно облысеть? Я что ли по этому поводу злобно переживать должен? Начальник тыла! Ко мне с тремя объяснительными. Если мне в них что-то не понравится, напишите десять».

«Все сгнуло. Танго стоит и здоровствует под вражьи-м началом, ПВО противника тучно жиреет на позициях. Интересно, кто вам подписывал зачетные листы? Я б

его, осклабясь, скормил крокодилам. Кто допустил вас до полетов? Сопли натужные лучше перебрасываются из тарелки в тарелку! Куры варенные легче летают по воздуху, чем пилоты Федерации! Еще парочка таких вылетов и я уйду в женский монастырь. На тренировках вы у меня теперь совершите групповое самоизнасилование. Причем, завтра».

«Вот оно! Южная цитадель, об отвратительном существовании которой, я твердил каждый Божий день, пала под нашими сокрушительными ударами. Один из главных бастионов врага на планете смачно разрушен.

Если есть в жизни счастье, то оно тут. Парни! Если на ком из вас есть грехи, я их всем отпускаю. Особенно предлюбодеяние. Сегодня хочу, чтобы все женщины были ваши.

Кстати, о женщинах. Дам прошу запомнить, что на боевых постах принято нести службу, а не со вздохом ухаживать за собственной физиономией.

Командирам подразделений выгрести с постов все лишнее лично, засучив засучницу.

Если что найду, придется все это вам съесть в моем присутствии. Неприятно будет, согласен».

«Штурм Южной цитадели сорван. Так обмишурится могли только молодые монахи при штурме девичьей обители. Ко мне. Всем. Будет больно. На разбор. Не уверен, что я не буду с порога орать, как влюбленный ишак».

«Эскорт каравана транспортных верблюдов удался. Кое-что мы потеряли, но на войне, как на войне. Все-таки, значительная часть жива и икает, и за это я благодарю, прежде всего, Господа нашего Вседержателя, потом вельеранцев за их неповоротливость, и наконец нашу группу эскорта.

Поражен их умением не только нарезать резбы в носу, но и вести бой.

Служба обеспечения! Это вы меня будите обеспечивать всем необходимым или я вас? По тому, как экипированы

мои летающие орлы, я на секунду подумал, что все в этом мире поменялось и отныне я ваш ежедневный должник.

Вся служба должна быть построена в 15.00 на осмотр. Я хочу видеть во что вы одеты. Если мне это понравится, будите строиться каждый день».

«Провал. Мы потеряли такое количество транспортов, что я диву даюсь. Эскорт! Вы, наверное, белены объелись. Кто не знает что это такое, объясняю: на вкус хуже того дерьма, которым объелся я, наблюдая за вашим безобразием. Уцелевшим — на разбор».

«Танковая колонна противника издохла на моих глазах. Не скажу, что я от этого сильно страдал. Скорее, я страдал от того, что меня не было с вами. Наконец-то я увидел настоящую мужскую работу. Блистательно.

Когда я придумваю еще одно слово, неизвестное мне дотоле, более полно описывающее мои впечатления, я вам незамедлительно сообщу. После приземления, все на тренажер. Что-то мне не понравилось, как вы стреляете. Много суеты и молока.

Обеспечение! Тренажер должен быть в строю. В прошлый раз он включился только после того, как я высказал его начальнику все, что я думаю о нем лично и обо всех его родственниках до пятого колена.

«Тень вашу, как говорится, об плетень! Танковая колонна противника не уничтожена по невыясненной для меня причине. Все на выяснение ко мне. Я в такую задницу еще не попадал. Попробуем в нее попасть еще раз гипотетически вместе с теми, кто вместо штурвала более приспособлен сжимать до боли лопату для удаления навоза из-под псевдослонов».

«Уничтожен радарный пост врага в секторе 05.13.5. Мы серьезно продвинулись на запад по направлению к базе Квебек. Задание было ни Бог весть какой сложности, но оно выполнено и это вселяет в меня уверенность».

Я начинаю верить, что наступит тот день, когда те самые мальчишки, которым все время приходилось подтирать попку, раз и навсегда превратятся в лучших пилотов Федерации. Мои поздравления, черт возьми.

Тыл! Всем подразделениям! Не следует забывать, что наши победы иногда куются именно здесь, в тылу.

В ходе плановой проверки подразделений тыла удалось, наконец, воотчую установить тот куй, которым все это куется. Это безобразие. За разъяснениями ко мне всем ответственным лицам. В понедельник. В 8.00».

«Сообщаю всем влажными губами: мы не смогли уничтожить радарный пост врага в секторе 05.13.5. Наступление на базу Квебек сорвано.

И я пытался сделать из них пилотов Федерации! Легче собственные яйца прибить к забору. Куры превратятся в соколов только в одном случае, если и тех и других ошипать, обжарить, а потом обильно полить майонезом. Иногда мне хочется повесить на кол свой собственный скаल्प. Но это только в первые секунды, потом я вспоминаю, что у меня есть подчиненные. В общем, как сядете на брюхо ровно, и выпрыгните из кабин, сразу ко мне».

«Попытка прорыва, предпринятая противником в секторе 05.13 в направлении блок-поста, провалилась.

Ударная танковая группа велерианцев, а так же вражеский воздушный авианосец не так давно умерли, не приходя в сознание. И все это благодаря четким, обдуманым действиям тех, кого мы называем флотом Федерации.

Меня искренне радует то, что и на этот раз мы сохранили в целостности свои дорогие задницы.

Наземные службы без суеты и мельчишения перед начальством совершают ремонт поврежденных систем и восстанавливают системы вооружения — мои аплодисменты.

Мне, все-таки, хотелось бы знать, так, любопытства ради, с помощью чего, собственно, осуществляется этот ремонт?

Если с помощью поминания чьей-то матери — это одно, если с помощью той техники, о необходимости при-
бытия которой я уже устал напоминать — это другое.

Желаю завтра видеть у себя ответственного за ремонт и восстановление техники. Пока не поздно, хочу изучить его непростое лицо».

«Вражеские танковые подразделения смеются нам прямо в личность. С ним недавно присоединился воздушный авианосец противника, а все потому, что нам показали курлыкину мать, а заодно то место, где все раком зимуют. В общем, нас опять раздолбали. Причем, как мальчиков из приюта филиппинских сирот. Если не умеете держаться за руль, надо приспособиться сосать поношенные тряпочки в ковше от бульдозера. Живые — на разбор. Я буду краток».

ВСЕЦЕЛО

Всецело «за» или всецело «против»?

Я — всецело «за».

Если речь идет о сексоритичности сознания и его неомыгтой бытовичности.

То есть, иными словами, если нужно кому-нибудь вставить, то я всецело «за».

ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕТА

«Приятно наблюдать наличие ума в собственных подчиненных. Иногда ум состоит не только в том, чтоб сперва вломиться в строй велерианцев, а потом, нещадно расстреливая боезапас, пытаться от них сбежать, наводя их попутно на пункты нашего скрытого базирования. Иногда ум состоит в том, чтоб ни с кем не повстречаться, все разведать и от всех ускользнуть. Именно с такой разновидностью ума нам и пришлось сегодня столкнуться. Обладатели его смогут в ближайшее время увидеть свои фамилии в благодарственном приказе.

А где наш тыл? Я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. Порой мне кажется, что тыл призван обеспечивать нам всяческую победу или нечто в этом роде.

То, что я наблюдаю сейчас, можно назвать лишь свальным грехом залетных ворон.

А эти кучи дерьма, которые ежедневно нашим тылом порождаются, я не могу принять даже в качестве культурного слоя.

Начальник тыла! Если вы до сих пор не поняли что я имею в виду, то за расшифровкой я жду вас завтра в 8.00. Хочу увидеть вас потным».

«Справедливость требует отметить, что летают многие предметы.

Некоторые из них летят только сверху вниз.

Все легко догадались что я имею в виду.

Выяснилось, что хуже того, что всегда падает только вертикально, летают те, кого я еще недавно считал своими учениками.

Полный провал. Всем уцелевшим от этого позора на два часа в карцер, потом к столу. И не забудьте салфетки. Я их вам буду втыкать».

«Внимание всем! Транспорты, которые мы ждем, на полпути к базе. Пока эти ящерицы доползут целиком, я нарожаю ведро головастиков. Предельная осторожность. Печенью чувствую: будет работа. Так что заранее навострите свои яйца, после чего следует думать головой».

«Браво! Не слышу! Браво! Где этот сын печали? Браво! Внук собаки! Где вы, пес вас побери! А? Что? Что значит не можете взлететь? Что еще за херня? Не надо мямлить! Что? Зев освободите! Ну? Не надо рассказывать мне про свою мечту, растягивая промежность! Чтоб я вас видел в воздухе через секунду! Время пошло!»

«Юниформ! Пыль тифозная! Что вы там скребетесь по углам? Как обстановка! Что у вас свеженького? А? Ну, надо было его выжать!»

«Браво! У вас поведение шелудивой овцы! Если вы выпустите из рук член с комплекующими и возьметесь за штурвал, у вас все получится!»

«Браво! Яйца птеродактиля! Вы сегодня взлетите? Или так сгнием? Жуйте быстрее! Да! Именно! То, что вы только что втянули с шумом из носа в глотку надо перекусить и проглотить, а потом обратиться к событиям».

«Техники! Мать вашу! Вы что там все охуели или как? Что за пальба? Почему открыли огонь? Что с пушками?»

«Командир, это техники. Похоже, антенна 2-бис 133.8 переориентирована и именно по ней идет управляющий сигнал. Повторяю, 2 бис 133...»

«Да, хрен с ней, с 2 бис! Где она расположена?! А быстрее вы можете?»

«Северная башня слежения, почти самый верх. Там еще рядом с ней два эммитера Дирака...»

«В жопу Дирака?! Где это? А... вижу! Всем боеспособным единицам, повторяю — всем боеспособным единицам, снести, к ебням кудлатым, радар на северной башне!»

«Фокстрот! Видишь радар? На самом верху этой богodelни торчит такая незначительная херотень — антенна. Она у нас недавно сошла с ума. Рядом с ней еще две такие невыразительные палки. Из-за нее наше ПВО сбивает сейчас наши же ракеты. Сноси ее к едрене Фене!»

«Снесли? Поздравляю всех! Операция по уничтожению собственного радара на северной башне завершена с минимальными потерями. Bravo! И вы в воздухе? Потрясающе! Как бы это пережить? Мама не зря рыдала в детстве над твоей колыбелью. Живым — на разбор. Буду крайне невыразителен».

БЕШЕНЫЙ ВАДИК

Я когда сына вижу, во мне что-то пропадает. Что-то очень личное.

То есть, происходит со мной что-то.

Не то, чтобы я против воспроизводства всякой плоти. Нет! Но сынки меня раздражают.

Тут пришел один к нам на экипаж. лейтенант и уже командир боевой части, а мы все капитаны и никто, а он нам говорит: «Я вам приказываю, потому что я — командир боевой части и помощник командира корабля по специальности!» — на что капитан-лейтенант Пенкин, наш всесоюзный староста, ему и говорит: «А не затруднит ли вас повторить свое приказание?» — и он повторил, после чего мы вдвоем подхватили его на руки и жопой долго били в подволок.

Мда! Так вот, с сынками тяжело, потому что он оказался сыном начальника объединенного штаба группы каких-то войск, и после этого открытия пришлось его дополнительно жопой бить.

И вот появляется Бешеный Вадик. Нам в автономку идти, все носятся, как пчелы — все в дом — появляется Вадик. И не просто Вадик, а тонкий психолог из научного института с полным чемоданом возбуждающих средств.

Хотя, не совсем так: половина чемодана была возбуждающих, а вторая половина — тормозящих. То есть, возбуждал, а потом тормозил.

Почему этого Вадика мы называли Бешеным, я вам сейчас объясню.

У нас же есть свой доктор Женя Шиманович — отличный парень, умница и дитя саратовских помоек.

И вот к нему, для написания диссертации, прикрепили этого корявого Вадика, который еще и оказался сыном главного врача санатория в городе Хоста.

Можете себе представить? Женя будет ему диссертацию в походе лепить, за что Вадик его потом в приличное с парохода место переведет.

Как же!

Мы его хотели тут же жопой обо все подряд побить, но за заботами по выходу в океанические просторы совершенно этот момент упустили.

Хватились — Вадика нет.

— Как нет? — спрашиваю у Женьки. — Он же на корабль загружался!

И Женя мнется. Мы уже в море третьи сутки, а тут Вадик пропал. Куда завалилось наше сокровище?

— Да никуда оно не завалилось. Только...

— Что только?

— Понимаешь...

— Ничего не понимаю

И Женька повел меня к себе в изолятор. Вошел, зажег свет. Вот тут-то я его и узрел: лежит на нижней полке бездыханный Вадик, и в нем внутри угадывается посторонняя жизнь — что-то тюкает, а к нему и от него со всех сторон трубки тянутся.

— Это что за колбаса?

— Понимаешь, не утлядел я. Он каких-то таблеток перед погружением наглотался и упал. Трое суток в себя не приходит.

— Надо ж так со страха обоссаться! Жив хоть?

— Жив. Я поверял. Не просыпается. Я уже по всякому. Тут программу надо выполнять, а он вырубился.

— И что теперь?

— Не знаю. Я его водой пою через шланг, а другой шланг к члену подсоединил и в гальюн его отвел, хорошо, что рядом.

— Не срет еще сообразно теме?

— Нет.

— Командиру доложил?

— Не-а.

— И не надо. Не нагружай человека. Вадик встанет. Такие недохнут в стойле.

Вадик встал через две недели. И пришел в кают-компанию.

— О! — сказала кают-компания. — Бешеный Вадик проснулся! Ну, теперь работа закипит. Ой! Теперь держись. Всем достанется. По ведру возбуждающих средств. Как самочувствие-то, таракан рыжий? Между прочим, ты ритуал пропустил. Какой ритуал? Посвящения в подводники. Очень простой ритуал. Мы хотели тебя посвятить, пока ты спал, но потом решили, что лучше с пробуждением. То есть, берешься ты и жопой...

— Погодите, как там диссертация, Вадик? Мы будем допущены к целованию титульных листов?

— Да, ему Женька уже половину настроючил, чего там целовать.

— А Вадик в то время где был?

— А Вадик в то время испытывал на себе новое лекарство «погружуй». Жуешь и плавно погружаешься. Главное, на член не забыть резину навинтить.

— Вадик, ты так сразу на работу не набрасывайся. Ты отдохни. Женька у нас умный. Он тебе эту херню в раз напишет.

— А ты котлеткой закуси. И супчиком. Хочешь супчика. Вестовой, Вадик хочет супчика. У тебя папа кто?

— Папа у Вадика врач. А Вадик — психический доктор. Чуешь, разницу, бородавка?

— То-то, я смотрю, он с этими средствами...

— С какими средствами?

— Ну, чтоб вадики не родились.

— Да, там как раз наоборот. Он сюда послан, чтоб они как раз родились.

— Вадик, ты, кашки хочешь? Съешь кашки. Сегодня гречневая. Это вчера была говно...

— А мама у тебя тоже есть?

- Ты хочешь, чтоб у него не было мамы?
- И где твоя мама?
- Тебе интересно?
- А то?..

И вот так каждый день. По приводу Вадик вышел с дикими глазами. Потом он заболел.

А Женьке Шимановичу он так перевод и не сделал, сучья медуза, хотя с диссертацией у них там был полный порядок.

.....

Да, чуть не забыл: а жопой-то мы его, все-таки посту-
чали...

О ТВОЕМ МЕСТЕ.

Твое место здесь. У меня в трусах. Ты помещаешься там целиком. Ты такая маленькая — ростом с карандаш, а лучше с пуговицу, но сильная.

И ты здорово сжимаешь то, что тебе удастся нащупать, а удастся тебе нащупать, перекатываясь с бока на бок, почти все.

И оно твердеет в том смысле, что неоднократное к нему обращение вызывает приливы.

Чувств, разумеется.

Потому что, если у тебя твердеет, то, прежде всего, предполагается высокий смысл происходящего. То есть, я хотел сказать, что налицо жардичность (философ Жард) в самом высоком понимании этого слова.

А это означает, что я становлюсь большим, огромным, заполняю весь мир до потолка, а ты становишься все более трогательной, маленькой и ломкой, и могла бы поместиться на ногте большого пальца моей правой ноги и я бы тебя оттуда достал, поместив тебя себе в трусы, где ты и должна находиться все оставшееся время.

ВМЯТИНА

— Саня! — говорит мне Валера, почесывая брюхо, — А ты помнишь, как ты матроса учил уму-разуму?

— Нет.

Мы с Валерой на улице встретились, и сначала я его назвал Серегой. С бывшими подводниками такое случается: встречаешь приятеля через двадцать лет, хватаешь его на улице за руку, пьяненького, он начинает отбиваться, а потом вы узнаете друг друга, обнимаетесь и путаете имена.

— Мы тогда только появились в Гаджиевке, приехали линейность подтверждать и вы нас катали: посадили на корабль командиров боевых частей и в море на задачу вышли. Я сидел у тебя на посту, весь расслабленный, приятный, а ты ушел на приборку. Вдруг ты вламываешься на пост, тащишь за собой матроса, ставишь его перед щитом и начинаешь воспитывать: он с приборки сбежал. И в середине воспитания ты внезапно бьешь мимо его лица кулаком в щит — крышка сгибается вовнутрь, — потом ты говоришь матросику: «Видишь вмятину? А если б я по щиту промахнулся, то что бы было?» — матросик в столбняке, я в ужасе — меня так с матросами разговаривать не учили. Потом он ушел на приборку по стеночке, сжимая промежность, а я чаю выпил — в глотке пересохло.

— Не может быть!

— Может! Ты б себя тогда видел. Кстати, вооружившись твоим опытом, я потом одного орла в умывальнике

топил. Затащил его в умывальник, макнул в раковину и воду открыл, потому что хамло.

— Ну и как?

— Знаешь, действует. У нас же скорость жизни в пять раз выше, чем на асфальте, объяснять некогда. Вот мы и проводили разъяснительную работу.

Потом мы с Валерой еще поболтали немного, покружили по улицам, пообещали не забывать, звонить и встречаться, и я проводил его на метро.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Я тут понял, что вы ни хрена не понимаете, поэтому объясняю еще раз: у нас не все, как у людей, у нас многое на интонации, рефлекторно, по осанке, с поворотом головы.

КАК И КОГО НАЗЫВАТЬ

Друг друга называем по имени отчеству. В остальных родах войск «товарищ капитан», а у нас — «Александр Михайлович». А если старпом мне говорит «Саня», значит, он в данную минуту ко мне чрезвычайно расположен и мы с ним на «ты». То есть, я ему говорю «вы» и «Андрей Антоныч», а он мне говорит «ты» и «Саня».

Где вы еще такое увидите? Только на подводных лодках.

А если старпом называет меня по фамилии, значит я провинился.

Если по званию — значит, я провинился так, что ему со мной на одном гектаре сидеть тошно.

Если по должности, например, «Химик!» — значит он сегодня игрив и не опасен.

Если — «Так! Зайди-ка ко мне» — значит, мы с ним на дружеской ноге, но все это может поменяться в два счета.

Если: «Где этот козел?» — значит, он имеет в виду не меня, просто при мне кто-то по пьяному делу в комендантуру загремел.

Все это ради экономии. Времени, конечно. И слов.

Тут такая жизнь, что проживается она в три раза быстрее, чем на асфальте.

И вот, чтоб не тратить ее на всякую ерунду, существуют некие нормы поведения.

То есть: всех мичманов мы дружно называем на «вы» и по имени-отчеству. И они нас называют так же.

Капитана третьего ранга мичмана иногда называют по званию.

В состоянии повышенного добродушия он говорит им «ты».

Между собой офицеры на «ты». Старшим офицерам мы говорим «вы» и по батюшке.

Если старпом говорит: «Так! Петров!» — то это насто-раживает.

Матросам «вы» говорится только в крайнем случае и это их нервирует. Обычно — «ты» и «Мамедыч» вместо «Мамедов» — это всех устраивает.

Командира мы все дружно называем «товарищ командир». Он старпома — «Андрей Антоныч», нас — так же или по должности, например: «Начальник химической службы!». После этого надо выкрикнуть: «Я!»

Идиотия, конечно. Какой нормальный человек, услышав свою должность или фамилию, кричит «Я!», разве что если он на верхнюю часть не совсем здоров — но, тем не менее.

Это «Я!», скорее всего, от искаженного английского «Yes!», то есть, «Да!».

Думаю, что наше «Есть!» оттуда же.

У нас многое оттуда. В смысле, из того самого места. Я бы вам показал то место, да, боюсь, не так прозвучит.

КАК ВХОДЯТ

Натурально входят.

Входить в каюту надо, постучавшись. На пульт — тоже. Стучишь, открываешь дверь иходишь, произнося: «Прошу разрешения на пульт!» — не дожидаясь никакого разрешения. Но, если не спросишь, могут выгнать в три шеи с криком: «Входить надо как положено! Что вам здесь?!»

А скажешь «Можно?» вместо «Разрешите» — услышишь: «Можно Машку под забором, а на флоте просят разрешения»

При входе в кают-компанию говорят: «Прошу разрешения в кают-компанию», — после чего следует входить, потому что никто такого разрешения тебе давать не собирается, тут вам не надводный корабль, это там надо спросить разрешения и стоять столбом, ожидая, пока не разрешат. У нас сказал — заходи. Это как «Сим-Сим, открой дверь!»

Не произнесешь этих волшебных слов, старпом на входе яйца оторвет.

Я до того привык на лодке в любую выгородку стучаться и просить разрешения, что иногда спросонья стучался в дверь гальюна, а потом спрашивал позволения войти, правда, тут же приходил в себя, а если кто-то за мной в

тот момент наблюдал со стороны, то приходилось перед дверью гальюна еще и расшаркиваться, кричать: «Свои!!!» — вроде это я так специально придураюсь.

На лодке все придуриваются.

Вызывает меня командир и говорит:

— Химик! Чем дышим?

— Кислородом, товарищ командир.

— Не дерьмом?

— Нет!

— Точно?

— Да!

— Уверен?

— Абсолютно!

— Чем докажешь?

Или:

— А почему, когда вы бежите мимо меня, то все время очень сильно руками размахиваете?

— Это от усердия, товарищ командир.

— А по-другому свое усердие никак не проявить?

— По-другому никак.

Или вот еще:

Стоим на строевом смотре. Командир меня за что-то дерет. Слов у него, в общем-то, нет.

От возмущения он говорит только: «Еперный бабай!!! Еперный бабай!!!» — и больше ничего. Я внимаю.

Потом, прерывая поток его «бабаев», говорю: «Товарищ командир, разрешите обратиться?» — «Да!» — «Двести рублей до полочки не займете?» — «А тебе хватит?» — «Хватит, я же все рассчитал» — после чего командир тут же достает из кармана двести рублей — «На! На чем мы остановились? Ах, да! Еперный бабай!!!»

Так и живем.

СЕРЕГИНЫ ИСТОРИИ

Первая

Я в семнадцать лет на гидрограф по благу служить попал. Родственник у меня очень большой главврач, и, поскольку все болеют, может куда хочешь устроить.

А мне очень хотелось на гидрограф: белый пароход, маленький, уютненький, команда смешанная — пара офицеров, остальные все фазаны — в смысле, гражданский народ, не тронутый присягой.

Командиром у нас был капитан второго ранга Гудков, знаменитый тем, что из имеемых сорока с лишним лет, он как минимум, двадцать посвятил ресторану «Гудок», что в городе Ломоносове при вокзале. То ли, ресторан в его честь, то ли, совпадение — пес его знает, но жил он в том же Ломоносове, откуда и наша гидрографическая экспедиция.

А старпомом у него был каплей с речным училищем — заканчивал он его когда-то, потом в пьяном угаре чего-то подписал и очнулся каплеем на гидрографе. То есть, кадрилировку — училище военно-морское — не заканчивал, от чего где-то глубоко, в неистлевшем сознании, уважение имел.

А я совсем мальчонкой учился в чем-то, напоминающим ДОСАФ, на «друзей моря» и выпустили меня с корочками рулевого-сигнальщика, что позволило немедленно

но по прибытию на борт безо всяких правил ППСС — «Пароходы Плавают по Себе Сами» — поставить меня к рулю и вообще, чуть чего, назначать старшим.

Пришли мы в Либаву в 17.30 и встали на рейде на якорь. Кораблик — полторы тысячи тонн, сокращенный состав.

Командир в 18.00 вызывает к себе старпома, говорит ему: «У меня тут баба. Я убыл до утра. К восьми за мной катер» — и с корабля долой.

Старпом собирает в кают-компании механика и прочих в 18.40, говорит им: «У меня тут баба» — и сваливает до семи утра, за ним катер.

Мех собирает всех в 19.00 и говорит: «Мужики! Начальники наши совсем обомлели. Бросили корабль. Я это так на самотек пустить не могу. Предлагаю следующее: тут в пяти километрах есть деревушка. Как стемнеет еще чуть-чуть, тихо снимемся, чтоб нас посты наблюдения и связи не засекали, и, с потушенными огнями, пойдём туда. Там есть бабы».

Сказано — сделано. Стемнело — мы линяем, подходим к деревеньке, а там пристань деревянненькая. Швартуемся, и все мгновенно пропадают. Только мотористы остаются — но те сразу спать — и я.

«Серег! — говорят мне. — Как сказал Козьма Прутков про флот, знаешь? Он сказал: «Бди и чувствуй!»

Остаешься за старшего во всем» — после чего все бегут на танцы, потом у них бабы, драки и все такое.

А я любил один на корабле оставаться. Красиво же вокруг, звезды, вода, лунная дорожка. Под все это, со вздохом, я открывал кандейку, жарил себе картошку и еще я любил икру трески пожарить и, чтоб она хрустящая, со свежим лучком, с хлебушком черным, с маслицем сливочным, а сверху чайком горяченьким это дело затопить, и потом уже сон — только бы до койки доползти.

Ночью все явились, с самого ранья снялись и пошли назад. В 6.30 привезли старпома. В 8.00 — приезжает командир.

А по правилам как? По правилам всех принимают с левого борта и только самых почетных — с правого. То

есть, левый борт у нас весьма искожен, а правый — не людим. А тут пьяный с вчерашнего старпом решил, от глубокого уважения, о наличии которого в закоулках оногo сознания мы уже говорили, перед командиром прогнуться и встретил его с правого борта. Проорал «смирно!», доложил.

И тут, делая шаг в сторону с приложенной к фуражке рукой, чтоб пропустить командира, он скользит в чем-то и падает, продолжая это «что-то» на себя собирать.

А это «что-то» было совсем не что-то, а коровье говно.

Весь правый борт у нас им усеян.

Я-то способен понять командирское недоумение: как, посреди залива, и столько говна от коров?

Но меня удивляет механик, который подходит ко мне сзади и сквозь зубы говорит: «Ну, ты, Серега, даешь!»

Будто я это все насрал, ей Богу!

Дорогая!

Хочешь ли ты, чтоб я подарил тебе большую радость? Вижу, что хочешь, сядь, бедняжка. Ты устала. Ты какая-то поникшая, увядшая. Дай я возьму тебя за руку.

Ты сядешь, а я возьму.

На диване. Потому что я лежу на диване. А ты сидишь. Рядом. И я хочу тебя развеселить. А может и утешить. Я хочу сделать что-нибудь в этой непростой жизни. Для тебя. Что-то очень-очень хорошее. Полезное. Или подарить тебе. Что-либо незабываемое. Ощущение. Может быть. Кстати, да. Может быть, ощущение. Необыденности. Твоя рука в моей ладони. Теплая. Мягкая.

Ты смотришь на меня. Чуткая. Я закрываю глаза, а ты смотришь. Я дышу, а ты смотришь. Я уже сплю. Смотри, дорогая. Я тебе это дарю. Ведь я для тебя — любимое существо.

А посмотреть, как спит любимое существо — большая радость.

История вторая

Вы же знаете, как на флоте трудно признаваться, что ты чего-то не знаешь. У нас как считается? Если ты пришел на корабль, то ты настоящий моряк, тень об плетень, во всем разбираешься и все умеешь.

А я же молодой был, и очень смущался, если встречалось что-то неизведанное. Стеснялся спросить. Вот в кают-компании у стола командира красная кнопка имелась.

Очень она мой взор притягивала. Как вхожу, так и глаз от нее не оторвать. Тянуло, просто.

И пришли мы в Либаву. Только не в тот раз, о котором я уже рассказывал, где было коровье говно, а в следующий. И пришли полным составом, то есть, на борту у нас буфетчицы.

На гидрографах же чем хорошо? Тем, что женщины работают и половой вопрос, в общем-то, решен. Чем больше гидрограф, тем больше на нем женщин.

Буфетчиц было две: одна, как суворовский солдат, с места и в Альпы, а другая — очень хорошая женщина, звали ее Марина. У нее и дочка на берегу осталась. Она денег хотела заработать, вот и морячила.

Но на корабле без «друга» нельзя, и у нее был боцман. Ей тридцать три года, ему сорок, и мужчина основательный, курсом на семейный очаг. Она и надеялась.

Встали мы на якорь, и на ночь половина народа с корабля исчезла.

А я вошел ночью в кают-компанию, и эта кнопка на меня смотрит. Дай, думаю... и тут рука моя сама потянулась и — клянусь — сама нажала.

Раздается жуткий звонок. На весь корабль.

Оказалось, что этим звонком командир буфетчицу из гарсонки доставал.

А выключить его можно только изнутри. Из гарсонки. А она закрыта.

Звонок разрывается. Ночь глубокая, жутко неприятно.

И пошел я буфетчицу будить. Ту самую, приличную Марину.

А она ничего не понимает. Я ей про притягательность красной кнопки в три часа ночи пытаюсь рассказать, а она мычит чего-то. Я ей — сам не знаю, как так получилось, что нажалось, а она дверь не открывает.

Наконец, появляется из-за двери в махеровом халатике.

В те времена на гидрографе все махером промышляли. Покупали его за бугром, а на родине продавали. Но разрешалось провести только три клубка, остальное — в изделиях.

И у нас все было махеровое. Привозили, или продавали, или на нитки распускали.

Вот на ней такой махеровый халатик и еще она его, по моему, уже начала распускать, потому что голое тело сквозь него просвечивает и мешает мне туда, при разговоре, не смотреть.

Я и смотрю, а сам свою историю излагаю.

Она мне потом дала тот ключ. От гарсонки.

И в этот момент в конце коридора слышались характерные покашливания боцмана. То есть, по коридору навстречу нам движется непростая любовь и обалденное семейное счастье. Марина бледнеет и с надеждой смотрит на меня и на открытый иллюминатор.

Как я вылез в него, до сих пор не понимаю. Там над водой стоять можно было, потому что бордюрик шел, но был он такой узкий, что если и стоять, то только на цыпочках. До воды — метра три.

Я бы долго не простоял. А еще я заметил, что махеровая нитка от того марининового халата за меня зацепилась и тянется, то есть, халатик продолжает распускаться, и, поскольку эта нитка тянется в иллюминатор и продолжает туда тянуться, то такое впечатление, что Марина рыбу ловит.

И, между прочим, рыбку ту, можно обнаружить.

Очень даже.

При желании, конечно.

И стал я потихоньку эту нитку сматывать, потому что ниже моего еще один иллюминатор имелся.

Там жил Тарас. Он мотористом ходил и тоже занимался махером, и поэтому я решил, что если я привяжу ключ к нитке, и намотаю на нем клубок, а потом, оторвав от основной нитки марининового халата, опущу то, что намотал, остороженько, — и клубок и ключ, — и постучу ему в окошко, то он в том биении почувствует нечто знакомое и непременно выглянет.

Так и случилось. Я намотал, опустил, постучал, и он выглянул: «Сергея, ты чего?»

А я стою уже из последних сил и кричу ему:

— Давай... дуй на палубу... и брось мне... ко-о-о-нец!

Он сразу все понимает, бегом на палубу, а там конец, свернутый в бухту.

Он хватает его, наматывает себе на руку и бросает мне.

А я до того истомился, до того испереживался весь, что как только его увидел перед собой, так на него и прыгнул... и выдернул Тараса с палубы.

Летим мы в воду. Сентябрь, вода не очень теплая, плаваем неторопливо.

И вот минут через пять перед нашими фыркающими рожками опускается еще один конец. И голос: «Лезьте наверх, голуби!» — это Марина. Только она не замотала конец себе вокруг руки, как Тарасик, она его просто к поручню привязала.

То есть, своего боцмана она отправила восвояси каким-то невероятным образом, а потом сразу пошла нас выручать.

Я, как только вылез, так ручьями и побежал в буфетную, и тот проклятый звонок вырубил, потому что про ключ я, даже когда в воду летел, помнил и, пока плавал, к сердцу его прижимал.

Да, вот еще что запомнил, когда до воды летел: очень красиво все вокруг было.

ПЕПЕЛЬНИЦА

Народ!

Можете себе представить: у нас главком вошел в центральный, сел в кресло командира и попросил... пепельницу.

Нет, можно, конечно, примерять на себя цвет штанов пожарника и это будет выглядеть очень даже славно, я согласен, но, как мне думается, это надо не при всех делать.

Это надо запереться в каюте, снять панталоны, поиграть немного гульфиком, потом взять штаны пожарника...

У нас же дети...

То есть, я хочу сказать, что даже дети малые и сынки безродные знают, что на подводных лодках в центральном не курят.

Это на тральщиках курят, на эсминцах курят, и на сторожевых кораблях.

Но и там не курят, например, на мостике. Для этого дерьма — тихо, только вам на ушко — у нас ют предназначен.

Есть на корабле бак, где может стоять какое-нибудь легендарное орудие, а есть — ют, с лагунами.

Там и помойное ведро имеется, куда охнарик, после того, как на него с оттяжкой плюнул, можно с легким сердцем поместить, проследив только, чтоб не промахнуться.

Ты же главком, жопа с ручкой! Твой портрет, слезящийся снаружи, у нас в музее висит. Нельзя же вести себя так, что тебя после этого начинают называть «Наш дурацкий тральщик».

А про дела твои скорбные говорят: «Крейсер ворюг».
Есть же какие-то очевидные вещи.

Полные смысла.

И лицо должно сохранять следы бывшего благородства
и с подвигами родства.

А у тебя чего? С рожей-то чего?

На тебя же без плача не взглянешь. Что это? Кто это?
Вот это то, ради чего мы все... да быть того не может!

Не может наш главком быть на тебя похож. Исключе-
но. Нет! Нет! Изыди! От этого лика не то, что служить,
жить не хочется.

От него сперматозоиды уже в яйцах глубоко хвосты
отбрасывают и там же с горя тухнут, непрестанно смердя.

От него же на душе хмарь и мазуга.

От него такой тоской сердечной тянет, что я сейчас же
свой взгляд помещаю на пулемет Максим.

Вот это вещь! Все у него на месте, все кстати.

А у тебя, что бывает кстати, кола осинового родственник?
Стакан или же графин? Какой из этих стеклянных предме-
тов всегда для тебя кстати, национальное сокровище?

Ты же точильщик! Во! Точильщик! Есть такое насеко-
мое. Его присутствие сначала незаметно, а потом он всю-
ду свои яйца вонючие разбрасывает.

А может, я упустил чего-то? И время, когда руки до
судорог штурвал сжимали, ушло, а я и не заметил? Мо-
жет, пришло другое время, когда внутри у главного воен-
ного начальника бьется хвост крысиный?

Ба! Точно! Когда крыса в петлю попадает, она так, бед-
ная, хвостом...

А как же присяга? Знамя еще целовали. «Пусть меня
тогда...» — помнишь? Помнишь, что «тогда», а червь под-
кильный?

Ты же не то целовал, змей гремучий.

Да, ты, наверное, Мамоне чего-нибудь целовал.

Хвост! Или около того.

Гла-фф-ком! Пепельницу ему!

В жопу тебе, пепельницу, в жопу! Вместе с пеплом.

Вот, смех-то, жопа с пеплом, о, Господи!

О ГНОМИКЕ

Он приходит по ночам. Маленький такой. Сядет на коечку и начнет: «Пойдем, пописаем»

А ты только уснул, поэтому поворачиваешься на другой бок и говоришь ему: «Пошел на хер!»

Проходит пять минут, он тебя тербит: «Ну, пойдем, пописаем!» — ты ему опять: «Иди... на хер, сказал!!!» — пять минут — «Ну, ладно, тебе, ругаться, пойдем лучше, пописаем» — «Пошел отсюда!» — «Ну, чего ты, я не знаю, пойдем, пописаем» — не отстанет, зараза — «Ну, пошли, бы-ыл-ля-дь!» — сползаешь с койки, дверь открыл, полкаюты разбудил, пошел в первый, через переборку перелез, в трубопровод по дороге лбом въехал — ы-ы-ых, сука, — подходишь к гальюну — а на нем пудовый замок, закрыли, сволочи — Блин! Назад! — повернулся, об трубу еще раз, пошел, в другой отсек, через второй в третий, и, главное, на ночь совсем немного чая выпил, на трапе чуть не поскользнулся, так как тапочки на ногах абсолютно истлели — в третьем гальюн закрыт, потому что переполнен, гады, тогда в четвертый — через переборку, поручни скользкие, зашел, дверь скрипучая, на себя, за собой, закрыл, и со стоном, притопывая, — ы-ы-ы-й, собака! — писаешь, писаешь, писаешь, ссышь, получается, вот, значит.

Пописал, на часы посмотрел — полчетвертого — пошел в каюту, дверь дернул, полкаюты разбудил, в койку и спать.

ТРЕТИЙ РАССКАЗ СЕРЕГИ

Вообще-то я за справедливость. Давно это повелось. Не могу я смотреть на всякое такое. Вот, например: я — курсант пятого курса — стою на улице во Владивостоке в очереди за пивом. Это первая моя стажировка на белом пароходе. Вокруг залив, бригада, корабли, завод, забор с дырками, куда мы все лазаем, КПП, через которое работы днем и ночью прут, улица Светланская, остановка «Комсомольская».

А пиво вьетнамское, семьсот пятьдесят миллилитров и очень хорошее, хмельное.

Вдруг вижу, мальчонку лет пятнадцати три алкаша потащили в подворотню, скорее всего, потрошить, а тут каприз идет, который все это увидел, и тоже в подворотню побежал.

Ну, а я-то в очереди не могу так просто стоять, как пень, я бегом на подмогу.

Дали мы в лоб одному, а жопу другому — освободили пацана. Каприз мне сказал, что я молодец, после чего он пошел дальше, парнишка — по своим делам, а я — в очередь за пивом.

Потом нас на плацу строят, всю бригаду, по какому-то потрясающему поводу, огромный плац, просто не представить, и комбриг выходит и движется вдоль строя.

А курсанты в самом конце, на шкентеле стоят. И вот идет комбриг и, чем ближе он подходит, тем я все больше

его узнаю: это тот самый каприз из подворотни. И он меня узнал, подошел, за руку поздоровался, как дела, говорит, поболтали мы с ним, так о разном, и он отошел. Потом ко мне вся эта шушера из штаба поддетела, там, откуда и как, а я им говорю, что мол, он мой знакомый, близкий друг отца, да и дяди моего прекрасный кореш.

С тех пор жизнь моя изменилась. Она и так была ничего, а теперь стала вообще о-го-го! Просыпаюсь в десять утра, поболтался, обед, после обеда сон, потом выход в город.

И вот зазывает меня к себе доктор и говорит: «Сергея, выручи. Ты же умный, из Питера, это я местный, а жена у меня из средней полосы. Придумай что-нибудь. У нас начальник политотдела все квартиры для своей замполитской сволочи захапал, а я уже пять лет в очереди на жилье первый, помоги. Поможешь квартиру получить, за мной не заржавеет».

Я ему говорю: «Так я же курсант» — «Ну и что, что курсант, но ты же умный и комбриг у тебя знакомый» — говорит он.

И тогда я подумал: ну, умный я, ну!

С этим нельзя не согласиться. Я так внимательно на себя посмотрел в зеркало: действительно, хотя, вот на подбородке какая-то невыразительная точка... но... нет... м... показалась.

Точно! Умный. И не просто умный — умнейший.

Я бы еще добавил: и справедливый, а лучше — и справедливейший. Да!

Так что — ждите!

Пошел я в штаб — благо, что комбриг у меня, получает, знакомый и вообще, как полагают, друг отца, и раздобыл так адрес этого негодяя начпо, потом я сел за машинку и одним пальцем напечатал одну тысячу объявлений: «Сдается квартира, полностью или покомнатно. Звонить в любое время. Спросить Гришу» — так этого уroda звали.

А надо знать, что такое Владивосток в те времена: там люди годами голые спали семьями на кораблях и где угодно.

И потому я нанял под будущий спирт, человек двадцать и они мне в одно мгновение все это наклеили на все заборы и столбы города Владивостока с помощью замечательного японского неотрываемого клея.

И настала для начпо настоящая жизнь, а то он думал, что светлое будущее не за горами. Звонили ему и днем и ночью, звонили по двести раз, просили, угрожали, умоляли. Соблазняли его деньгами и тем, что «они сейчас придут».

Он сопротивлялся сперва, а потом сдался, собрал всех, всех офицеров бригады, сказал, что он осознал какое он дерьмо, и теперь все будет по справедливости, как у Христа записано, только бумажки снимите.

И доктору моему в тот же день квартиру дали, а он мне, на радостях, шесть литров спирта притащил, которые я тут же и раздал.

По справедливости.

А потом у меня на душе вдруг так хорошо стало, так здорово, так уютно и я подумал: «Вот ведь сила какая у печатного слова!»

ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ

Я даже не знаю, хочется, знаете ли, иногда что-нибудь наделать такое, а лучше, совершить и чтоб совершенно бескорыстно, для страны, а лучше, для родного Отечества.

И я очень хорошо понимаю адмирала Всеволода Ивановича Дранкуль, бывшего начальника технического управления, который сперва воровал безо всякого чувства хотя бы реальности, а потом, когда его взял за хибот и посадили на восемь незабываемых лет, все осознал и проникся настоящей любовью к вышеназванному Отечеству.

А посадили его не за те эшелоны разнообразного добра, которое в жизни никто не считал и не проверял куда его с флота развернули, а за тот незначительный дизель-генератор, который он подарил своей малой Родине — небольшому сельскому хозяйству, утонувшему в безбрежной степи, за что его приревновало другое сельское хозяйство, соседнее, которое и заложило его по всем статьям в следующих выражениях: «А вот некоторым дизеля дарят, в то время, как другие надрываются!» — ну, как после этого его было не посадить?

Тем более, что там еще имелся музей «имени меня», где портрет адмирала Дракуль в полный рост и прочие военные детали.

Посадили. Приехали, отобрали дизель и нашли здесь же неподалеку его дачу, где в подвале оказалась закопанная цистерна со спиртом, увешанная датчиками и прибо-

рами автоматической подачи жидкости наверх, с помощью сжатого воздуха, для чего и компрессор имелся, работающий от совершенно невзрачного, постороннего дизель-генератора, топливо для которого хранилось в отдельной цистерне, снабженной датчиками температуры и давления, срабатывающими автоматически по превышению параметров, для чего и приборы автоматики располагались в непосредственной близости, рассчитанные на сеть 220 вольт 400 герц, которая запитывалась от обычной сети, но через небольшие преобразователи. Там еще много-много было всяких чудес.

Ему на суде дали последнее слово, а он встал и сказал:
«Люблю Отчизну!»

Вот тут я его понимаю.

Я в самом начале об этом говорил.

СТРАХ

— Я туда больше не пойду — зашкаливает.

Мой мичман вошел на пост с этими словами и стал снимать с себя нейтронные датчики. В глаза не смотрит. Все в пол.

А мне хочется, чтоб он мне в глаза посмотрел.

Хотя, нет, не хочется. И так ясно, что боится. Не интересно, когда человек трусит.

А вот какая зараза придумала на семидесяти процентов обоими бортами картограмму гамма-нейтронных полей снимать — вот это интересно. Я б ему... яйца, от любопытности, всенепременнейше отвернул.

— Хорошо. Клади все, я схожу.

Пойду сам. Наверное, это бравада. Мол, мичман за деньги, а мы — за идею.

«Один рентген — это два ноль восемь на десять в девятой пар ионов в одном кубическом сантиметре».

В одном кубическом сантиметре воздуха или вещества.

Излучение опасно тем, что частицы пронзают тело и оставляют в клетках свободные химические радикалы. И все это превращается потом в перекись водорода.

Одна молекула этой дряни на миллион молекул воды означает смерть клетки.

Об этом приятно думать перед походом в реакторный отсек.

У нас два реактора, две выгородки и по тридцать восемь точек замера в каждой. Если не халтурить — на час работы.

На семидесяти процентов обоими бортами мы уже три часа — повезло, это такая, значит, нам задача поставлена.

Проход через седьмой я уже запретил. Чем меньше людей шляется сейчас в проходе реакторного, тем лучше. Зона старая, биологическая защита разболтана — одни прострелы. Стрелки пляшут. Иногда не хватает диапазона. Возьмем с собой приборы на гамма-излучение и нейтроны. Сейчас я этой чушью увешаюсь.

Надо посидеть пять минут с закрытыми глазами, пред-ставить как пойдём и куда.

Перед входом в отсек надо постоять, послушать. Иногда что-то делать до смерти не хочется. Тогда внимай своему внутреннему голосу и не делай. Он не дурак, плохого не посоветует. И главное не волноваться. От собственно-го волнения собственные приборы могут сойти с ума. Реагируют они вдруг на человеческое волнение.

А чтоб не волноваться — глубокий вдох. И снова.

И выдох.

И еще я воздух нюхаю. Меня тут прозвали Носом. Химик-Нос. Ха!.. Сволочи...

Центральный, чуть где гарью запахнет, приказывает: «Химику занюхать!» — и никто не шутит. Какие тут шутки. Нос у меня хороший.

Я несколько раз перед входом в отсек вдохну-выдохну, провентилирую хорошенько легкие — и вперед.

Входить приходится несколько раз — нос быстро забивается. Поэтому не дышим, пока к подозрительным механизмам не подойдем. Они перегреваются — вот и пахнут.

И еще я по звуку чую какой агрегат плохо работает.

И еще... я даже не знаю почему... постоять рядом надо — ничего не тревожит?

Или посидеть, не спеша, привалившись.

Спешат только убогие.

Заранее включаем сразу два прибора. На гамма и на промежуточные нейтроны. Пробегаем по всем точкам,

потом подсоединяем датчик на быстрые — и еще раз пробежались. Так снимать показания гораздо быстрее. Тепловые можно не замерять — их никогда не бывает.

Сперва в одной выгородке — потом в другой.

Когда я так брожу, у пульта всегда челюсть отвисает. Вот и весь кураж. Дозиметры надо нацепить. Они, понятно, погоду на Марсе покажут, но — на всякий случай.

Чего еще? Все, вроде...

Пошел...

ВСТРЕЧА

Кот шел по улице. Он шел походкой ветерана гладиатора, только что удалившегося на покой. Это был громадный кот, и движения его не отличались излишней пластикой. Видел я его с двадцати метров, но и с этого расстояния были заметны жуткие шрамы на его физиономии. Одно ухо у него было надломано и производило впечатление кепки, сдвинутой вбок, хвост — ополовинен. Выражение морды говорило о том, что все в этом мире он уже видел и в необходимости многого сильно сомневается.

Пока я рассматривал кота, я не глядел по сторонам, поэтому сам момент появления на сцене овчарки пропустил. Я заметил ее уже в десяти прыжках до кота. Бросаться ему на помощь было бесполезно. Я оцепенел. Огромная овчарка летела на него совершенно бесшумно, и в каждом прыжке было видно, что это очень сильное животное.

Кот, казалось, ничего не замечал, в движениях его суетливости не прибавилось ни на йоту. Когда распаренная пасть овчарки готова была уже проглотить, с моей точки зрения, нерасторопного беднягу, он вдруг сделал быстрый поворот вокруг некой собственной оси, и оказался морда в морду.

Овчарка отчаянно затормозила. Так пытается остановиться автобус после того, как перед ним заелозила легковушка. Тщетно цепляясь за асфальт когтями, растопы-

рив лапы, она, конечно же, погасила какую-то часть своего движения, но не всю — она все еще подъезжала к коту боком, растарашенная.

Кот ждал.

Наконец овчарка справилась и остановилась. Они стояли, как вкопанные и каждый смотрел чуть в сторону. Между ними шел немой разговор. Примерно такой: «У нас проблем-ммы?» — «Ах, что вы, нет, конечно, же! Все так неожиданно» — «Но вы хотели что-то сказать?» — «Ну, как же! Вот гуляем тут, гуляем!» — «Вы можете, совершенно не опасаясь, поделиться своими... впечатлениями» — «Ах, я так спешу. Вы уж не обессудьте» — «Но вдр-руг!» — «Нет, нет, все хорошо».

Потом кот повернулся к ней спиной и, вроде нехотя, пошел по своим делам, в отдалении он не забыл брезгливо встряхнуть лапами.

Овчарка сделала вид, что обнюхала те кусты, которые находились сразу за котом, а потом ее позвала хозяйка, и овчарка, преувеличенно радостно, прыжками бросилась на ее зов.

ПЕРСИК И КАРТОШКА

Не люблю я спирт. И даже очень. Особенно, когда он, замерзая, начинает тянуться, когда его наливают в стакан или же кружку.

После чего его следует пить, лишь слегка разбавляя водой — брррр!!! — сука, дрянь.

На практику мы прибыли после четвертого курса. Только взошли на корабль в два часа дня, как старпом вызвал нас к себе и сказал: «В 23.30 жду вас на сдачу устройства корабля», — и мы вышли, удрученные.

А старпом — выпускник нашего училища, и как он, со своим радиолокационным прошлым, стал старпомом корабля разведки — один папа верхний ведает, в смысле, Аллах.

Оглянулись — идет другой наш выпускник — он только на три года нас старше, но уже испит.

— В чем печаль? — говорит он нам, и мы ему ее немедленно излагаем.

— Я вам помогу, — замечает он, — все расскажу, покажу, но только и вы мне помогите. В прошлом я, может, помните, неплохой боксер, а тут соревнования намечаются, и меня на них усиленно тащат. А я — совершенно растренирован. Будите со мной за компанию в 6 часов утра каждый день бегать, а то я один не могу, силы воли не хватает?

Мы и согласились.

Сказанно — сделано: он нам тут же все показал, мы это все изучили, законспектировали, и в 23.30 — к старпому, а он нас уже ждет: «Заходите мужики!» — входим, а он спирт достает и всем в кружки наливает: «Ну, что? Вздрогнули!» — и так до пяти утра. А в 6.00 — на пробежку с не совсем спившимся боксером, с укоротившейся волей.

Неделю так жили, а потом старпому комнату дали, и его беременная жена немедленно прилетела.

— Мужики! — говорит старпом. — Все отменяется и устройство корабля, и пробежки. Теперь вы мне должны помочь переехать, чтоб наладить семейную жизнь.

Переехали мы в одно мгновение. У старпома из имущества сохранилась нетронутой только одна табуретка и ворох шинелей. Табуретку мы посреди комнаты поставили — на нее непременно сразу села беременная жена, — а шинели мы в углу сбросили. Потом достали кровать, стол, стул.

Старпом принес кружки и спирт.

— Ну, что ребята, вздрогнули?

Затем мы вздрогнули, и не один раз.

Потом поковыряли вилками в тушенке «Китайская стена», после чего обрела голос жена, которая заявила, что она сейчас умрет, если не съест жареной картошки.

А где на севере в июле вы видели жареную картошку? Ее и сырой там нет. На севере в это время года вообще ничего нет, если не обращать внимания на старпомовский спирт и тушенку «Китайская стена».

Но мы с Серегой встали. Мы знали, что такое желание беременной женщины. В недавнем прошлом у нас с ним тоже были беременные женщины, которые счастливо разрешились от бремени только потому, что мы исполняли любые их желания.

Мы с Серегой пошли по квартирам. Тупо. Звоним в дверь и спрашиваем: «Картошка есть?».

Сереге взял одну парадную снизу доверху. А я — другую.

Я вернулся через десять минут и без картошки, с половиной лица — друга от стыда сгорела, а Сереге пропал.

Часа через полтора звонок в дверь и появляется: сначала шкварчащая сковорода с картошкой, а потом Серега.

Оказалось, он набрел на квартиру начальника тыла, жена которого в прошлом тоже была беременна.

Там Серега сумел ей рассказать то, как он переживал появление на свет своего первенца, и в таких это было выражениях, что они немедленно оба расплакались, а потом жена нажарила картошки, которая у начальника тыла даже в июле не переводится, и попросила только сковородку вернуть.

Картошка с болотным хлюпаньем моментально исчезла в наших желудках, а жена старпома вытянула от удовольствия ножки и сказала, что картошка — это замечательно, но вот если б к ней она еще и персик мохнатенький съела, то она бы точно и в срок родила бы стране еще одного старпома.

Серега вскочил, схватил пустую сковороду и исчез.

Не знаю, хотел ли он для страны нового старпома, но через десять минут он принес персик.

У той жены из тыла он выпросил еще и персик — мохнатый-мохнатый — который лежал там у нее в холодильнике совершенно одинокий.

Так что рождение было обеспечено.

Мы потом встретили эту даму через много-много лет. Своего проспиртованного старпомного козла она уже давно забыла, потому что сразу с ним развелась, а тот персик, нас и картошку до сих пор помнила.

ТРЕТЬИ СУТКИ

Я не сразу понял, что я его ненавижу. Ненавижу его походку, лицо, улыбку, и то, как он ест. Мы в автономке только третьи сутки, а я его уже ненавижу.

Мы посланы искать озон на лодках. По его теории, на лодках много озона, а его никто не замеряет, и от этого-то они и горят.

Он был командиром на 675 проекте. Там для поддержания органов дыхания снаряжается химическая регенерация.

А эта штука хитрая. Если у тебя есть полтора процента углекислоты в воздухе, то можно будет балансировать на уровне двадцать три — двадцать пять процентов по кислороду, а если захочешь по углекислоте сделать ноль восемь процентов, то кислород поперет — не сдержат.

Больше тридцати будет.

А у этого орла углекислоты было под ноль пять, но это потому, что он арифметику не знает.

То есть, кислорода — тридцать пять и выше.

А при таком кислороде горит даже плавок.

У него выгорело два отсека вместе с людьми. Мичман в корме точил лодочку из эбонита, поставив точило на РДУ — регенерационную двухярусную установку, из которой тот кислород и пер.

А искры у него сыпались на рубашку, маслянистую от собственных мичманских жиров.

Точил он долго, — не для себя, понятно, для командира, — а вспыхнул только тогда, когда набрал в отсеке кислорода побольше.

Процентов сорок было, не меньше.

Мичман бегал по отсеку живым факелом и все поджигал. Сгорели все, кто был в корме.

Те, кто выжил, говорили, что горел воздух.

Его пытались посадить, но не получилось.

Я смотрю на его волевой подбородок, на губы — они у него в сливочном масле — и чувствую, как во мне встает комок. Он говорит чего-то, губы шевелятся, а я не слышу. Я только бормочу про себя: «Сука безграмотная, бестолочь. Двоечник проклятый. Понаберут в командиры вот таких вот сук, а он, кроме как над людьми измываться, ни на что не способен. Хотя нет, способен. Он еще способен высшему командованию жопу лизать, и говорить везде: «Так точно! Выполним! Сделаем! Родина! Костями ляжем!» — Сам-то он костями не ляжет. Дерьмо вонючее».

Через десять минут меня в туалете рвало.

Потом я помылся, посмотрел на себя в зеркало и подумал: «Чего это я? Только третьи сутки похода».

ТЕСТ

— Я списаться хочу. Подчистую, — сказал мне Слава Панов.

На дворе у нас 1980 год, а он хочет списаться.

С плавсостава, естественно. Мы с ним на лодках служим уже десятый год, и ему эта катавасия слегка поднадоела.

По-другому с лодок не уйти. Он пытался, но ему сказали: «А куда вы собрались уходить? Вы же здоровы! У вас даже язвы нет!»

— Ах, так! — сказал он на это и решил уходить через сумасшествие (не по дискредитации же высокого офицерского звания).

Срать под себя он не стал. Он на программе «Время» в телевизор выстрелил. Прямо диктору в лицо. Стоял дежурным по казармам, проверял выполнение личным составом вечернего распорядка дня, зашел в ленкомнату и там разрядил пистолет.

После чего его в больницу направили, а меня назначили его сопровождать.

Честно говоря, на моей памяти по шумам в голове только один списался, да и тот был летун — легчик, проще говоря. Он на медосмотре на неосторожное врача: «Как вы себя чувствуете?» — сказал: «Хорошо, доктор! Небо люблю! И летать хочется! А еще у меня мечта есть: взлететь повыше, открыть крышку, на крыло вылезти и постоять!»

Вот за это списали. А за стрельбу по диктору — сомневаюсь я.

Мы, как вошли к врачу, я, чтоб как-то поучаствовать, протягивая ему бумажку, где все про Славу было написано, сказал: «И еще меня просили узнать, как его зрочки реагируют на свет!»

Черт знает, зачем я это спросил. Само выскочило, но врач — хоть бы дрогнул — «Сейчас, — говорит, — выясним. Садитесь, пожалуйста».

Усадил он Славу и говорит:

— Есть у вас заветная мечта?

— Есть!

— Какая?

— Повесить старпома!

— За что?

— За яйца!

— Все, — говорит мне доктор, — совершенно нормальный офицер.

— Почему, — спрашиваю я.

— Потому что он хочет повесить старпома. Все нормальные офицеры хотят повесить старпома. А когда я спрашиваю за что он его хочет повесить, нормальный офицер отвечает: «За яйца!». Это и есть тест на нормальность. Кстати, вы хотели выяснить, как у него зрочки реагируют на свет?

— Да-а-а...

— Идеально они у него реагируют, идеально.

Потом мы со Славой вышли.

Я-то давно уволился, по двум падениям в обморок, а Слава до сих пор служит.

АВАРИЯ

В двух словах.

Корабельное учение.

00.00 — Начало учебной тревоги и учения

03.00 — Конец учебной тревоги и учения....

03.01 — Начало перекура в курилке.

В курилке сразу же после отбоя тревоги, еще команды «от мест отойти» не было, уже сидят: старший на борту, командир, зам и все прочие, имеющие отношение.

Сидят, с обсуждением деталей, а народ стоит и ждет, естественно, пока освободится курилка.

Народ стоит в коридоре на нижней палубе, где находится выключатель дифференциального тока, и один из матросиков — щелк-щелк — выключателем. Включает и выключает прибор, то есть, от скуки балуется.

04.00 Курилка освободилась, очередь пошла — щелк! — в нижнее положение (вырубил) — «Ну, ты идешь!» — «Да!» — и пошел в курилку, забыв врубить.

04.05 — Дифференциальный ток обесточен и остается в 1-ом градусе на погружение.

04.10 — Автоматика начинает обрабатывать «на всплытие», но дифферент — то, что называется «в минусе».

04.11 — Начинают перегонять воду в нос — эффекта никакого.

04.12 — Дифферент уже 15 градусов на корму. В центральном предполагают поступление воды в корму.

04.12 — Играют аварийную тревогу.

04.13 — Дают пузырь в корму — результата нет.

04.13 — Вахтенный на связь не выходит: при крене в 20 градусов он улетел в «собачий» отсек — маленький такой закуточек, мать его, а там связь по «Лиственнице», а она работает только с «бананом», а его надо держать у тела, а как он его будет держать, если его самого уже ноги не держат? То бишь, что там в корме происходит, никто в центральном не ведаёт.

04.13 — Дифферент 30 градусов. Дают полные обороты, но это только усугубляет ситуацию.

04.14 — Дифферент 35 градусов. Валится защита обоих бортов.

Честно говоря, уже жутковато, если не сказать больше. Питание 220 вольт 400 герц играет фугу: «Фигу- уууу.... свет...» — притухает.

После длительной работы в автономке, часть лампочек дневного освещения и так не горит, а тут еще и это.

Тишина — все вентиляторы и половина механизмов на отключаемой нагрузке останавливается вслед за тем еще одна тишина, которая гораздо тише.

04.14 — Лодка некоторое время двигается на выбеге.

04.14 — При задранном носе останавливается достаточно быстро.

Далее, после подачи пузыря в корму и остановки хода, нос валится, как каменный. В доли секунд — все на глубине 100 метров и проваливаемся дальше, глубже, глубже.

Но старшина!

Старшина команды трюмных вовремя все «прочухал», «уразумел», «всосал в себя обстановку», и за время, пока лодка находилась в переходе между дифферентами, успел, все ж таки, добежать до второго отсека.

По ручке дополз до пульта управления и продул все цистерны.

Всплыли, разобрались и пошли дальше.

Блядь!

ПИСЬМА

Одно: «Здравствуйте, товарищ капитан 1 ранга! Пишет вам Ахмадулин Т.М., который служил на ЭМ «Влиятельный», а в данное время на ЭМ «Возбужденный».

Товарищ капитан 1 ранга, я прошу вас, возьмите меня к себе шофером. Я нашел справку, что я учился на шофера. Мне осталось только сдать вождение (поездить стажером недельку и все!).

Я обещаю вам через полгода съездить в отпуск за хорошую службу.

А насчёт перевода, вы зря меня перевели на «Сторожевой». Там быстро узнали почему меня перевели и не давали спать ночами. И здесь тоже знают, и хожу я с опухшими губами и каждый встречный ударит или толкнет.

Я очень прошу! Возьмите меня к себе!

Досвидание!

17. 08. 83 г. (подпись)»

Другое: «Здравствуйте, товарищ капитан 1 ранга! Это опять я, Ахмадулин Т.М. Видно, письма до вас не доходят или адрес нетак. Я попробую сам встретиться с вами, приехав к вам и поэтому я покидаю «Возбужденный». Если меня будут ловить, я буду сильнее прятаться, а если небудут, постараюсь добратсья до вас за грое суток.

(Сегодня после очередного избиения я невыдержал)

Досвидание!

Ахмадулин Т.М. (подпись)»

Приписка: «ЭМ (эскадренный миноносец) «Возбужденный» находился в тот момент в 49-м заводе г. Вилложенска. Кстати, «Сторожевой», о котором пишет Ахмадулин, тот самый, на котором Валерий Михайлович Саблин 8 ноября 1975 года поднял восстание. На следующий год его тоже спишут на иголки. Бригада (БЭМ) в/ч (номер бригады) с богатейшей историей и удивительными людьми. Хочу, но не могу ее забыть.

А эти письма мне попали из строевой части бригады, зная мою пристрастность к прошлому.

Всего вам хорошего.

Старший мичман запаса флота России Бобак Б.А.»

КОНСТАНТИНЫЧ

— Что будем делать, пастухи и пастушки? — это я обратился к своему мичману, нашему лыжому дозиметристу Константинычу.

Через полчаса в автономку идти, а у нас вместо техника на выход матроса дали.

— Слышь, семьяпровод, ты хоть «Катюшу» пускал когда-нибудь?

— Пускал.

— Сколько раз?

— Два.

— Ураться можно! — это я Константинычу.

— Я пуцу, — говорит он, — Пошли в шестой.

И мы пошли в шестой отсек. Там «Катюша» стоит. «Катюша» — это установка «К-3», наше секретное оружие. Вырабатывает она в час три куба кислорода и раздает его в отсеки нашей родной подводной лодки.

Мы на нее за восемь дней до того села, а задним числом — МГР сделали. МГР — для жителей Владимирской пустоши — это межпоходовый ремонт. Между походами положено сорок пять суток ремонт делать, но его, условно говоря, делал другой экипаж, который мы сменили неделю назад, по случаю того, что они — веники. То есть, способны только на то, чтоб вениками в поселке землю подметать. Представляю, как они этот ремонт запендюрили. А потом они еще прошли контрольный

выход в море на десять суток и проверку штаба дивизии и флотилии. Проверку флотом проходили мы, но нам по башке настучали, чтоб мы отвечали то, что положено, а не изобретали новые флотские выражения, при встрече с проверяющими.

А еще у меня перед выходом техника отобрали и дали молодого матроса. Это значит, что матроса загребут в вестовые, а мы с Константинычем будем двухсменку таранить.

Я-то «Катюшу» пускал в своей жизни, ясный перец, но есть там одно обстоятельство: нужно обладать очень чувствительными пальцами и при пуске осторожно поворачивать большой клапан раздачи кислорода по отсекам, а то он жутко нервный — на доли миллиметра надо научиться его вращать, иначе передавишь водород в кислородную полость или наоборот, и будет взрыв.

Ничего страшного, конечно, у нас и техника и автоматика очень железные, и на такие неприятности давно рассчитана, просто моя челюсть на подобное не рассчитана — после взрыва всегда немного ноет.

— Продул азотом? — это я Константинычу.

— Ну?! — это он мне.

Надо продувать азотом обе полости — кислородную и водородную — чтоб этих взрывов с самого начала избежать.

Константиныч у нас азартный Парамоша, ему все ни по чем. Тут мы как-то на одном выходе в море химическую регенерацию снаряжали, а там все, как положено, должно быть: коврик, ключ для вскрытия, резиновые перчатки — в общем, все, как учили.

И еще чисто должно быть: регенерация не любит грязь, особенно в РДУ — замечательной нашей регенерационной двухярусной установке — где обязательно эта грязь вспыхнет.

Я тогда Константинычу тоже сказал: «Пыль в эрдеушке убрал?» — на что он мне сказал: «Ну?!» — потом в одно мгновение сорвал крышку с банки регенерации, голыми, естественно, руками туда скоренько влез, вытащил и зарядил в РДУ всю пачку пластин.

А пыль химическая просыпалась — ап-ч-хуй! — и встретилась с пылью отсечной — ничего он не помыл, все лежало, как и лежало.

И — кя-як яхнет!

Столб огня в один миг снял с Константиныча всю его горячо любимую бороду, а у него при этом был вид козла, у которого маму родную на глазах сварили.

Я ему потом говорю: «Теперь пыль, наверное, сметать будем!» — а он мне с жаром: «Теперь-то — конечно!»

Так что его «ну?!», я очень хорошо знаю.

— Точно продул?

— Ну, точно, точно, что ж я воц-ще, что ли!

Он уже не слышит. Он уже весь в «Катюше». Вводит аккуратненько так, осторожненько, стрелочки пошли-пошли, ожили-ожили, родимые, и тронулись-тронулись с места, милые, компрессор, компрессорок наш водородный подключился-подключился, пошел-пошел, уютненький, а стрелочка водородная задрожала — это самый тяжелый момент, задрожала, теперь все от ловкости рук, задергалась, точнее, от их чувств... тельности... чувствительности... их... все сильнее и сильнее дергается... от чувствительности их... к происходящему и... к... клапану особенно — вот он его только повернул чуточку... вот еще... и — как да-да-х-нет!!!

Будто в узкий, стальной колодец упал металлический шар!

Зубы... слева... занули... а во рту... кисло... слюни в ступе... во... до... р-ррр-о... д... е... ба.. нул... ту... точ... ки...

Я глаза приоткрыл — тухлять карманная... все живы... вроде...

Матросик-то сразу сбежал, а Константиныч стоит всклокоченный.

— Ну, теперь-то, — говорит он мне, безумный, — точно азотом продувать будем.

ДЕМОКРАТИЯ

— Я не знаю что такое демократия. Особенно в армии. Это мы со старпомом в кают-компании разговариваем. Вернее, говорит у нас он, а я только слушаю. На дворе 1988 год и демократия докатилась уже до всего, даже до подводного флота.

— Хрен его знает! Может, я дурак? Как считаешь?

Беседуем мы после проворота оружия и технических средств, и еще у нас завтрак сегодня был на борту не совсем абсолютное говно, вот старпома на речь и потянуло.

— Может, это народоизъявление? А? Как думаешь? Я вот курсантом был. Второго курса. И на построении командир наш вдруг с вопросом: «Кто хочет цеть?» — все молчат. Он: «Тогда поступим по справедливости. На первый-второй рассчитайся!» — «Первый! Второй! Первый! Второй!» — «В две шеренги стройся!» — «Раз! Два!» — «Первые номера — первые голоса! Вторые номера — вторые голоса!». Вот и все народоизъявление.

За бортом зима и ветер в Краю Летающих Собак. Почему «летающих»? А ветер такой силы, и все ледяное, гладкое до полюса, как подует, так они и полетели. Идешь, бывало, втроем, цепляясь друг за друга, ветер тащит по земле и вдруг мимо с ужасающим скулением где-то над головой пролетает мохнатый комок — пса на воздух подняло.

— Зам страдает. Ему насчет демократии бумагу спустили. У него вчера на роже было выражение «здравствуй,

жопа, новый год!», которое по истечению некоторого времени поменялось на: «чтоб к исходу сентября родила богатыря!». Я ему не завидую.

Старпом — Переверзиев Андрей Антоныч, по кличке «Переверзец!», на вид сто тридцать килограмм, базовое выражение лица «мастино неополитано», заслуженный, подо льды ходил.

— Член у него на демократию не поворачивается. Это ж все равно, как гребнистому крокодилу пристроить соску попугая! Утренней эрекции нет. Я его понимаю. Спросил с утра после бумаги: «Как эрекция?» — а он только рукой махнул. Скоро! Скоро, помяни мое слово, Саня, наступит им полный... переверзец, не будь я Переверзиевым Андрей Антонычем. Кстати, у кого из классиков написано «их гнали в шею по пизде мешалкой?» А? Ну? Не знаешь? Вот! У Пушкина. В «Капитанской дочке». Да-а! Одно, знаете ли, удовольствие! Только не надо проверять, бросаясь в личную библиотеку на колесах, я это между строк прочитал. Так что скоро мы с тобой увидим нашего зама, мародерствующим на помойке, отнимающим пищу у серых ворон и мышей. У крыс!

Старпом пожевал губами, вперив взгляд в будущее.

— А и хорошо! Знаешь, я так подумал, тихо, сам с бою, а и хорошо! Представляешь, идем мы — чистые, гладкие, при деле, а он побирается. И вид у него нездоровый, и пульс, а в уголках рта, слюна собачья и в глазах — гной. А тело-то, тело, как чешется! Как оно, бедное, чешется, страдает, значит. Язвы! Трофические! Струпья! Парша! А все потому, что страдает душа или то место, где она должна была вырасти, но — облом. Фигушки! Не выросло! Кончено! Тело на вынос! И пойдут они, сырые все, кто-чем зарабатывать. Продавать пойдут, вот увидишь. Им же продать ничего не стоит.

Вот там сущность наружу-то и повадится. И будут звать ее «сучность».

Я так понимаю, что демократия — это вроде как справедливость. А? Как полагаешь?

КРЕМОВЫЕ РУБАШКИ

Мы с Саней Гудиновым решили начать новую жизнь и каждый день носить на службу свежую кремовую рубашку. Вы же знаете, что рубашки эти — совершенная дрянь. Под черной тужуркой они постепенно приобретают угольный оттенок ткани, а на воротнике и на рукавах абсолютно не отстирываются, и потом их гладить — одна морока. Не хотят они гладиться, да и некогда же всегда — на службу надо бежать.

Мы с Саней в одной квартире живем. То есть, жена его на нашем севере чудном не появлялась никогда, потому что сказала однажды: «Ты хочешь, чтоб я там окончательно зеленую взошла что ли?»

Так что жили мы в вдвоем: меня Саня пригласил. «Чего, — говорит, — тебе по всяким подвалам шастать».

А мне и ладно. Мне же главное ночью, чтоб помыться, и в кровати очутиться.

А утром в 6.20 на службу.

Но теперь мы каждый день еще и свежую кремовую рубашку станем одевать, от чего чувствовать себя людьми постоянно будем.

Два дня мы, действительно, одевали свежую рубашку и все было просто блистательно, а потом закрутились и две недели не снимали, потом сняли, сравнили с теми двумя, что мы уложили в специально купленный для такого случая бак для белья, и поняли, что те две еще со-

вершенно даже гладенькие, а эти, что на нас, просто ужас какой-то.

И пахнут, как портянки Маннергейма.

Мы решили пока одеть на себя старые, поскольку они даже не помялись, а эти постирать, для чего положили в их небольшой тазик, налили воды и засыпали порошком, после чего затолкали все это под ванну и ушли на службу.

А там — день, два — закрутились и в автономку загремели. На три месяца.

Когда мы пришли, то сразу домой побежали, чтоб помыться по человечески, чаю выпить с изюмом и телевизор посмотреть.

Входим — оз-перевертоз!

— Ты не знаешь, — говорит мне Саня, — что у нас за вонища?

После автономки же совершенно о земле забываешь, и, что ты там оставил, не помнишь.

Полезли на запах под ванну и вытащили тазик. Вода в нем давно высохла, но сперва в ней, видимо, завелась какая-то неприхотливая жизнь, которая с помощью слизи съела наши рубашки, а потом и сама от бескормицы сдохла.

От того-то и вонь.

Очень вонючая была та жизнь.

А от рубашек наших остались одни рукава, что торчали во все стороны, имея что-то общего посередине.

УТРО

В кают-компании за завтраком, кроме меня, сердешного, еще зам со старпомом. У нас теперь старпом старший, командира давно нет — с тех пор, как лодки на приколе стоят и с них все подряд тащат, а мы охраняем — в живых пол экипажа, старпом и зам. Говорит зам:

— В сложившейся экономической ситуации...

У нас зам дурак. Его в шкафу закрыть — неделю никто не вспомнит.

— ... немаловажно отметить, что...

Старпом не выспался. Хмуρο смотрит на квадратное яйцо. «Квадратное яйцо» — это омлет, по-простонародному.

— ... а западные спецслужбы...

Сейчас старпом к чему-нибудь прицепится, по всему видно.

— ... разведшхуна «Марьята»...

Сейчас кому-то наступит конец. Или не так: сейчас наступят на чей-то конец.

— ... вот если прикинуть трезво: почему НАТО продолжает лезть в наши территориальные воды? Холодной войне конец...

У зама такое выражение, будто он речь в Генеральной Ассамблее держит. Боюсь, что старпом не выдержит.

— Вестовой!

Не выдержал. Входит вестовой. Старпом:

— Начпрода сюда!

Через минуту входит начпрод, вороватый мичман Зуйко Алексей Артемьич.

— Вызывали, Андрей Антоныч!

Ошибка! В мирной жизни старпома разрешается называть по имени-отчеству, но сейчас — это ошибка.

— Мичман!!! Зуйко!!! — от грохота старпомовского голоса яйца бакланьи в гнездах лопаются — Я вам, мать, не Андрей Антоныч! Я вам, первомать, старпом! И капитан второго ранга! Потренируйтесь в произношении.

Зуйко тренируется.

— А теперь, размявшись, помянув царя Давида, доложите: почему у нас на завтрак нет колбасы полукопченной в количестве тридцать грамм на рыло!

Зуйко что-то талдычит про замену колбасы на паштет, паштет — на тушенку, тушенку — на сгущенку, а ее — на курицу с костями.

— Прерывая ваш словесный понос, и тем самым, закрепляя вашу речь, кудрить вас некому, хочу сказать, что так до и сена можно докатиться, и, если б я был заинтересован именно в этом, я бы расстрадался настолько, что выгнал бы к едрене Фене всех, непарнокопытных. И вас в том числе. Мне кажется, что вы не понимаете всей сути своего нахождения на борту. Воровать можно кому угодно, кроме тех, долбанутых, которые до сих пор не сбежали отсюда сквозь переборки. Кругом марш! Завтра! Должна быть колбаса, иначе я съем на завтрак весь ваш личный ливер!

Зуйко испаряется. Минута молчания. Наконец, старпом мягчеет и говорит заму:

— Сергеич! Что ты там только что пел про НАТО?

УЧЕНИЕ «ПО»

Мы развернем перед вами полотно. Полотно боевых действий. Точнее, учебно-боевых.

Тактическая обстановка: Росток, Германия, 1985 год, дело идет к выводу наших войск, Берлинская стена еще не пала, но воздух через нее уже сочится.

Это было последнее совместное, наше с немцами, учение. Учение «по» — по радиоэлектронной борьбе. С кем — уже не важно.

Важно, что существовали в то время еще такие экзотические теперь звери — замполиты.

Вышли, развернулись, заняли позиции.

А позиция — прямо на пляже, среди тел. Выкатили эти наши старомодные машины разведки — КУНГИ — и из них и осуществили все последующее безобразие, связанное с радиопоиском и радиообменом.

Пляж оказался нудистским. То есть, все голые и висят таблички «Нихт проход!».

И вставшие члены тоже «Нихт!» — на плакатах перечеркнуты.

Зачем мы это отметили — позже станет ясно, а пока, активисты пляжа, их «зеленый патруль» — голые тетки с повязками попытались нас с пляжа убрать. А мы им документы, мол, ничего не можем.

А они нам, Бога ради, но перемещение по пляжу в голом виде. Мы им — хорошо. Мы не будем перемещаться.

Только договорились — время обеда, а воды нет. Вода есть только в конце пляжа и ехать туда на УАЗике с цистерной надо в обнаженном состоянии.

Решили, что поедет замполит, а в помощь ему дали двух матросиков — «Только отличников и коммунистов!» — «Хорошо-хорошо!», — после чего они сбросили с себя трусы.

Воду набрали быстро, повернули назад и тут «газон» застрял в песках. Требовалось подтолкнуть. Матросики вылезли и подтолкнули. Потом их никто до вечера не видел.

Зам приехал с водой, но без матросов. На вопрос «Где они?» — бляял что-то невразумительное.

Провели совещание, для чего связались по рации с верхним командованием, в ходе которого, верхние сказали, чтоб к концу дня все были найдены, хоть там весь песок своими членами взлохматьте.

Вызвали «зеленый патруль» и он явился совсем без ничего, но с повязками. Объяснили им, что у нас люди потерялись, а они говорят: Бога ради, ищите, только чтоб без исподнего.

Без исподнего отправили замполита, потому что это он потерял «отличников и коммунистов».

В конце дня по обгорелым задницам нашли ребят.

Оказывается, когда они подтолкнули «газон», и он, взревев, умчал замполита с водой, они остались одни в окружении голых теток. У ребят немедленно встали члены, а перемещаться в таком виде по пляжу было запрещено, на что им сейчас же указали окружающие.

Народ залег, в надежде, что член падет.

С тех пор они несколько раз пытались приподнимать-ся — все напрасно. Члены взлетали, как белки.

Они — «отличники и коммунисты» — пытались ползти, но упрямыцы пещерстые чертили на песке борозды и никак не поддавались на уговоры.

Потом они устали и легли, а члены глубоко ушли в песок.

Тем учение и закончилось.

МАЛЬВИНА

Я на корабле теперь исполняю сразу три должности: химика, помощника и дежурного по кораблю. Через день на ремень. Лодка на приколе, море на замке, людей нет. В девять утра звонит наш штурман. Он у нас навсегда поставлен дежурным по гарнизону — пятнадцать нарядов в месяц.

— Саня! Сейчас в поселке отловлен мичман Зубов в дупель пьяный. Я его на комендантской машине, пока никто его не видел, на пирс привезу. Встреть тело и положи где-нибудь догнить.

И пошел я встречать тело. Мичман Зубов Модест Аристахович является классным специалистом, электриком и при этом в росте и весе он достигает критической для мичмана цифры — сорок семь килограмм.

Когда я брал его в руки и спускал по трапу в лодку, я думал только об одном: на старпома бы не напороться.

Не то, чтобы старпомов совсем не пьет. Он пьет, только он пьяных не переваривает. А мичман Зубов, Модест Аристахович, в состоянии полного душевного кривлянья, может своим видом и речью что-нибудь у старпома поправить.

Если б вы нашего старшего помощника командира, капитана второго ранга Переверзиева, хоть раз видели, вы бы этот момент бытия навсегда запомнили. У него, при общем росте метр девяносто пять сантиметров, в ладони полностью скрывается трехлитровая банка со спиртом, а

в душку двухпудовой гири только два передних пальца «влазиют».

Так что он убить может.

А мичман Зубов, при спуске его в шахту верхнего рубочного люка за шиворот одной рукой, потому что второй фужой я за ступеньки держался и на качке их перехватывал, всячески извивался и ругался матом.

Ну, и напоролись мы, конечно на старпома. Модест Аристахович сразу же в чувства пришли и заикали.

У старпома глаза стали резиновые. Он взял у меня из рук то, что раньше было классным специалистом и электриком, и пошел к себе в каюту. Нес он его, держа за грудь, как кукан с сельдью. Я семенил рядом.

В каюте он, не глядя, повесил его слева на вешалку. Там вешалка при входе прибитая и на нее он одел мичмана вместе с шинелью. Как Буратино. Зубья вешалки вылезли у мичмана около ушей — справа и слева — пропоров загаривок шинели.

— Значит так, Мальвина, — сказал он совершенно уже протрезвевшему бедолаге, в прошлом электрику, — Ты пока повиси, а я схожу пописать! — и вышел.

Остался я, в качестве Пьеро, наверное, и этот — крупный специалист в области электроразрядов, перемещенный нашим Карабасом из Буратин сразу в Мальвины.

А в голове у меня вертится почему-то нарисованный очаг в коморке Папы Карло и то, что Буратино хотели сжечь.

На мичмана страшно смотреть. В глазах у него можно прочесть целую повесть о личном сиротстве.

И вот вошел в дверь поссавший старпом. Вошел он так стремительно, что при входе образовал ветер. Потом он снял Модеста Аристаховича с крючка и посадил его перед собой, потому что ноги беднягу уже не держали.

Палец старпома уперся ему в грудь.

— Тебя как лишить девственности? — спросила гора Магомеда.

Те пузыри, которые пошли у мичмана изо рта вместе речи, не в счет. Он ничего не сказал.

— Колом? Ломом? Зубилом? Или же отверткой?

Опять пузыри.

— Не молчи, бестолочь!!!

Жалкие попытки.

— В следующий раз, — прошептал ему старпом на ухо, притянув к себе нежно, — я тебя об колено сломаю, ПИЗ-ДЮК ИВАНЫЧ!!!

Потом он закатил глаза, сверкнув белками, как мавр, и выбросил мичмана в коридор.

Тот полз до переборки, а потом затих.

ШАШКИ

Случилось это в те времена, когда три рубля были деньгами, а двадцать пять — большими деньгами. Мы тогда в Росте, в заводе стояли, и нам очень хотелось мыться. Помощник мне говорит: «Валера! Пойдем в человеческую баню, у меня на душевые рабочего люда просто жуткая аллергия. Блевать прямо с порога тянет. Пойдем. Я знаю куда. Там и веники есть!» — в общем, пошли.

В первой бане оказался женский день, во второй — женский, в третий — опять женский день.

То бишь, не судьба.

А раз не судьба, то мы в чем есть — в свитерах под тухлым кителем, — следуем в ресторан «Панорама».

Подходим — а там толпа перед входом в дверь рублями стучит.

Мы уже совсем собрались кисло повернуться, а тут швейцар нас увидел и зазывает: «Ребята! Морячки!»

На «морячки» мы всегда откликаемся. Через пять минут мы сидели за столиком, пряча вонь под мышками, а перед нами вертикально стояла газель. То есть, официантка.

Мы порылись в карманах. У меня, как у настоящего лейтенанта подводного флота, в кармане двадцать пять рублей, а у помощника, как у настоящего капитан-лейтенанта — только три.

— Нам, — сказали мы, — закуски и выпивки на всю сумму, но не больше, потому что больше у нас нет и никогда не было.

Через десять минут мы уже ели, прихлебывая водку из фужеров, а еще через полчаса мир вокруг уже не казался уродом.

Через час к нам подошла совершенно не наша кормилица и сказала, что у нашей дома возник пожар и рассчитает нас она, потому что наша бросилась туда, вытянувшись в длину.

Мы не возражали, но когда она принесла счет, в нем стояло тридцать пять рублей.

— А вы все правильно подсчитали? — спросили мы с надеждой на то, что все мы люди, племя адамово.

— Да! — сказала представительница детородной части этого племени и показала нам еще раз счет.

— Панкратыч! — повернулся я помощнику, вставая с места. — Не извольте беспокоиться, деньги щас будут.

С тем он и остался под охраной детородной представительности, а я отправился искать семь рублей.

Должны же здесь быть вояки, не бывает такого, чтобы не было.

Видите ли, на флоте можно изо дня в день садиться в офицерской столовой за один стол с человеком и впервые заговорить с ним только через пол года, потом, еще через полгода, можно с ним в первый раз поздороваться, а лет через пять спросить как его зовут.

Но при этом, денег у него можно занять сразу же с обязательной отдачей через неделю.

У меня у самого в два часа ночи так занимали. Звонок в дверь — я открываю. Стоит совершенно мне незнакомая личность.

— Понимаешь, — говорит мне она, — я в Мурманск еду и мне четыреста рублей не хватает. Дай на неделю!

И я дал, потому что разбираться дорожке, спать хочется. А через неделю он вернул. Я до сих пор не понимаю, откуда он взялся.

Так что в ресторане должен быть кто-нибудь, такого не бывает.

Через пять минут оказалось, что бывает: я все обшарил — ни одного кителя.

А в гардеробе — только наши с помощником фуражки.

С тоски я пошел в бар на второй этаж. Там все пили и смотрели футбол — ни одной нашей нестандартной физиономии.

И тут я увидел, что бармен в шашки играет с приятелем. Бармен быстро его обыграл, тогда к нему подсел еще один приятель, потом еще.

— Слушай, — говорю я тому бармену, к этому моменту очень правильно выговаривая слова, — жжже-елауюю с тобой сыграть!

— На что?

— Ну-у, не на просто так, конечно... на коктейли... по два пятьдесят...

Бармен посмотрел на меня очень внимательно и придвинул доску.

Через полчаса все забросили свой футбол и сгрудились вокруг нас.

Я выиграл у него подряд восемнадцать коктейлей.

— Так! — сказал я, раскланиваясь в сторону зрителей, — Спасибо за внимание! Рад был нашей встрече. Еще увидимся.

— А теперь мне нужно деньгами семь рублей, — обратился я к бармену, постепенно трезвея, — остальные коктейли ты ставишь на поднос, сколько уместится.

Уместилось восемь стаканов, прочие я ему простил, и он проводил меня вниз лично, нес передо мной поднос со стаканами и деньгами.

— Блин, Валера! — вскричал помощник, — Куда ж ты делся? Я тут два часа сижу в окружении пулеметов!

И я ему рассказал про шашки. Мы расплатились, проглотили коктейли и вышли — на шаланду было пора.

— А если б ты проиграл? — все переживал по дороге помощник, и качал головой, а я улыбался и только, потому что все перед глазами снова принялось сливаться во что-то розовое и на душе приютилось тепло.

Если б проиграл. Ну, да! Я в шашки никогда не проигрываю.

ПОХОД

Значит, так, объясняю: хочется в море ходить.

Кораблей нормальных нет, экипажей тоже нет — потому как все в сиську пьяные — но хочется.

На дворе 1995 год. Матчасть без присмотра уже лет десять, и люди по помойкам.

Но мы же великая страна! (При этом ебануть бы об чего-нибудь!)

А великая страна не может без флота! (И еще бы ебануть!)

Ну, раз не можете, тогда так: сначала из трех кораблей делаем два, потом из четырех делаем два, затем из шести делаем два, из десяти... и вот когда из одиннадцати мы соорудим один, тогда в море пора, надо только подводничков на него посадить, потому что корабль у нас не совсем корабль, а подводная лодка.

И кого на нее посадить? А кого попало. Кого на улице поймаете — вон их сколько, неухоженных. Так что за работу!

И придумана была прекрасная секретная операция по отлову людей, при которой в «УАЗик» начальника штаба, бредущий вяло, как больная гиена, по дороге в поселок,

бросались все, кого встретишь, там уже выяснялось кто это у нас тут по специальности, после чего народ отвозили на пирс и под охраной с автоматами опускали в лодку.

Очень скоро в лодке от народа было не протолкнуть-ся. Все они желали идти в море, потому что ни одного кормального среди них не обнаружилось.

Последним закинули штурмана Василия и он был трезвый, а до отхода ерунда осталась.

Старпом, в голове трава — на траве дрова, икнул и командовал: «По... ый, бля... шли... — то есть, «По местам стоять, со швартовых сниматься!»

Ага! Значит к «бою и походу» они давно приготовились.

А на пирсе стояло родное командование, которое и помогло «отдать концы!», особенно кормовой.

Ну! Мда!

А место, из которого они выходят — это такое узкое, как ковшик с ручкой, горлышко, причем под словом «ручка», понимается проход (вокруг Дальний Восток, проще говоря).

А напротив него, того прохода, чтоб от ужаса вам обмотаться, остров.

И вот подводная лодка, чудовищных размеров, из-за конструкторов, горбатая, страшная для врагов, как смерть, битком набитая всякой пьянью, высунула свою гидроакустическую морду в залив, направляется прямоком к островку со скалами, чтобы вовремя от него повернув влево, устремиться в большой и огромный океан

И, надо же, именно в этот момент трезвый штурман Василий, не имея никакой возможности выставить подчиненного на мостик, в виду полной его невменяемости, решил выходить из базы по радиолокации, корректируя

место эхолотом, циферки которого он видел краем глаза торчащими на табло из штурманской.

И тут из первого отсека прозвучало что-то невнятное, но похожее на то, что неплохо бы подать электропитание на шпиль для экстренной отдачи якоря в случае чего...

Это был минер, это его осенило, если дело пойдет, как оно идет, то вполне может случиться и что-нибудь «чего».

Старпом, совладав с икотой, резонно заметил, что это даже соответствует всем требованиям по подготовке корабля к проходу узкости, и послал морячка, улыбчивого идиота, случившегося под рукой, включить рубильник, чтоб питание подать на этот долбаный шпиль.

Моряк бодро пошел, но питание не подал, зато он отключил эхолот.

А, к слову сказать, на мостике в тот момент делать было нечего: очень понятный для той местности туман не давал возможности разглядеть даже кормовой вертикальный руль нашего бедного корабля, который (руль, конечно) имеет обыкновение торчать из воды.

То есть, видимость — ноль, а тут еще штурман Василий зрит в табло, а там неумолимо гаснут циферки

эхолота, после чего он — штурман — выпучивает глаза, как рогатая жаба, поглотившая мышь, и визжит английской свиньей, медленно увеличивая тональность: «Ээээээ-т-та что?!!!!»

Старпом, в мгновение ока, протрезвев ровно на треть, помчался в предполагаемое местонахождение нашего посланного моряка, от рождения дауна, с твердой решимостью напинать ему в задницу, и исправить создавшееся положение, или наоборот, сначала одно, потом другое.

Словом, он прибежал, напинал и подал питание на эхолот и шпиль, одновременно сняв его — такое нужное — с пульта управления рулями и, вырубив заодно и радиолокационную станцию, к которой как раз заморожено, приник трезвенник Василий, по совместительству штурман, созерцая причудливость береговой черты.

Тут штурман Василий и боцман, — надо же еще один мудак пришел в себя, — обнаружив, что остались без вверенных Родиной инструментов, (а рули заклинило) истощно заверещав, ринулись врассыпную, путая папу с мамой.

Штурман — в штурманскую, а боцман — на палубу, ко шпилью, поверить как там его здоровье, потому что онто — о боцмане речь — понял — отвернуть от уютного островка не удастся, всенепременно втемяшимся, а щит якорного клюза, которым якорек наш прикрывается до того, как в нем, в якоре, почувствуют надобность, не отваливается по причине того, что он неисправен, но открыть его можно с помощью некоторого ломика, который он — то, бишь, боцман — запрятал предусмотрительно в одном закуточке, коих на лодке полно.

Тем временем время для штурмана Василия остановилось. Штурман Василий, цвета слоновой кости, шевеля губами, в полной протрации озвучивал показания ожившего эхолота... «Семь метров... шесть с половиной... шесть метров...»

— «А-а-а-аааааааааа...!!!!»

Это старпом, принесла нелегкая.

— «А-а-аатдать якоррррь!!!»

В центральном все вздрогнули, как после горного обвала, а почти протрезвевший минный офицер вместе с боцманом в этот момент уже терзали щит якорного клюза, грызть их за жопу зубами...

Наконец-таки ломом удалось подцепить его, сняв со стопоров, и — хррррясь!!!!!! — щит всегда так лихо отваливался, что мог запросто размножить боцмана безо всего пополам.

Боцман, хитрая bestия, знал это.

Прытко отскочив, он поскользнулся, и на излете присосался задом к палубе, сильно треснувшись обо что-то затылком, чем и погасил свое сознание.

А в «Каштан» уже рвалось: «Пашшшёл!!! Пашшёл шпиль!!!!!»

И он пошел. Дохло и неторопливо. Вот только якорь никуда не пошел. Просто влип в клюз и все! От всего от этого нагадить в низ себя кубометр можно!

Уж и нападал на него минер, и материл — ну никак!

И тогда плюнув на это дело и, повернувшись ягодицами к такому-то и такому идиотскому творению рук человеческих, минер стал пробираться к выходу.

Вот когда дикий лязг и грохот возвестил миру о том, что якорь таки ушел в воду и бодро вытравливает цепь из ящика.

И потом... Что?!

Потом?.. А что потом?.. Потом... упала АЗ.

А что такое АЗ?

Хм... Это аварийная защита ядерного реактора, чтоб вы все были здоровы!

А чего она упала?

А вот этого, друзья мои, никто не знает никогда. Заблела, наверное.

После падения АЗ в отсеках темно стало, как у теплого негра в черном анусе, и только лишь лязг и при-

ближающийся шум прибоя в тумане и одиноко светящийся аварийный фонарь, освещающий медленно ползущую из ящика якорь-цепь, в очередной раз привели с чувство минера, и он схватил боцманский лом, чтоб хоть чего-то остановить, схватил, да и воткнул его в одно из звеньев якорной цепи под контрафорсом, (а... и... все равно ведь не знаете что это) и ломик этот, воткнутый вертикально, пополз-пополз к направляющим стопора якорь-цепи.

Дополз! Да! И замер. Все замерло. Абсолютно все.

Да-с, господа!

Лом, обычный лом, остановил от неумолимого приближения к скалистым берегам островка нашу многотысячтонную лодочку.

Якорь поскреб-поскреб еще коготками, и... застыл...

Тишина...

А в центральном решительно все обосрались и потеряли дар речи, думая в ужасе.

И когда, как-то вдруг, неожиданно, произошло переключение усохшего электропитания с реактора на электропитание с аккумуляторной батареи, то все вздрогнули, в который раз всосав слюну, а штурман Василий обнаружил себя тупо глядящим на включившийся эхолот.

На его табло отчетливо высветилось: «1,0». Под килем был ровно один метр.

А потом штурман Василий и бедный минер начали орать, как боевые маршалы, в сторону буксира, который из всех сил старался, чтоб его сгоряча не раздавили.

И буксир подлетел к лодочке нашей красавице, а штурман Василий и бедняга-минер прыгнули на него, как звери в ночь.

И буксир, высадив их на плавпирсе, где они тут же наговорили ровно пятнадцать тысяч слов отцам-командирам — те пытались их остановить и направить назад — и все эти слова кончались на «уй».

А потом они пошли — две ссутуленные спины, решительно, плечом к плечу, гулками, огромными шагами с пирса в густой туман...

Все...

ДОКТОР

— Саня, ты у нас сколько должностей исполняешь?
Это старпом от меня ждет ответа, а я смущен.

Когда видишь начальство, то лучше всего от него от-
вернуться и бежать.

— Андрей Антоныч! Собственно говоря, я уже испол-
няю обязанности помощника командира, заодно с обя-
занностями химика и дежурного по кораблю через день.

— Так это ж все лишь три должности и из них одна
через день!

— Андрей Антоныч!

— Не знаю! Отлыниваете, батенька! Отлыниваете.
Устраиваете себе прохладеньце. Да-а... Но это ничего.
Это мы поправим. А принимайте-ка сегодня же долж-
ность медика. А? Как? Медик — это же почти что химик!
Ловко я придумал?

— Андрей Антоныч!

— Не слышу восторга?

— Есть, восторг!

— Озвучь.

— Андрей Антоныч, я испытываю восторг.

— Вот и прекрасно!

Господи! Хорошо, что он мне трюмную группу не вру-
чил. Вручил бы он мне трюмных и возился бы я до конца
своих дней с этим дерьмом.

У нас теперь ежедневно забирают какого-нибудь офи-
цера, и осиротевшие должности делятся между живыми.

Сам старпом давно исполняет обязанности командира БЧ-5, начальника РТС и БЧ-4.

Корабль у пирса, и со стороны матчасти почти совсем разграблен штабом, а теперь еще и людей отнимают. Словом, отстой.

«А хорошо, что меня к трюмным не сунули!» — подумал я еще раз и пошел в амбулаторию к медику.

Только вошел, как за мной немедленно сунулась голова вахтенного.

— Тащщц-ка...

— Ну?

— Вы, говорят, теперь у нас врач?

— Ну?

— У меня голова болит.

— А у меня душа.

— Нет! Серьезно, тащщц-ка...

— И я серьезно! Так, ладно! Исчезни до звонка. Дай осмотреться. Через десять минут зайдешь.

Через десять минут я уже все сделал. Во-первых, я обнаружил, что наш, ушедший от нас навсегда в страну вечного лета и великой охоты, медик, все лекарства рассыпал по банкам, на которых написал: «Анальгин», «Аспирин», «Но-шпа», — ну, так далее. Во-вторых, я пошел еще дальше. Я вытряхнул всех омумиеневших тараканов из верхнего ящика стола и сыпал туда содержимое всех банок — ох, и работенка, доложу я вам! Потом я все это разровнял, с любовью — кругленькие вы мои — и крикнул через дверь: «Заходи по одному!»

— Ра-аа-шите?

— Что у тебя?

— Голова.

— На!

— А это от головы?

— А от чего же? Бери горстями.

Через неделю мой ящик опустел.

Еще через неделю меня вызвал к себе старпом:

— Саня! Какие, говоришь, ты у нас должности исполняешь?

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ИГРЫ

Я вам сейчас все объясню. Раньше как было? Раньше было так: автономок мало и люди все неграмотные, а командиры у этих людей были очень грамотные.

И они учили. Ну, то есть, людей.

От чего люди, в конце концов, грамотнели.

То есть, учились в те времена, много.

А потом наступили другие времена: автономок куча, выходов в море — завались, людей нет, потому что все побежали, и командиров нормальных нет, потому что они все время где-то учатся и на корабле не задерживаются. У нас командир два года держался, потом в академию ушел, а мы для него, и корабль тоже, чем-то вроде ступеньки или полигона были.

То есть, мы знали свое дело лучше, чем командир знал свое.

И служить стало весело. Командир с весельем говорит какую-то команду, сути которой он до конца не совсем осознает, например, «Координаты цели утверждаю!» — а мы отработываем каждый свое, потому что натасканы и слажены.

И командиры поглупели. Потом из них получились глупые командиры дивизий, из которых выбирались еще более глупые командующие флотилий, а из них самый глупый мог попасть в командующие флотом, а из нескольких глупых командующих можно было легко избрать дурака-главкома.

Вот такая ерунда.

Постскрипtum: Однажды мы за неделю после автономки на другой корабль пересели и снова в автономку ушли, потому что командиру нашему очень хотелось командованию угодить и про нас, измочаленных, и про технику, что в руках от прикосновения, рассыпалась, он никому не докладывал.

А мы по приходу даже на женщин смотреть не могли.

А он по приходу нас покинул.

Это я про командира.

В академию он поступил.

ВАШИНГТОН

Сегодня в кают-компании появился штурман Витя. Витя почти навсегда служит дежурным по гарнизону и на родном корабле появляется только отчасти. Как появляется, так, в отсутствии начальства, конечно, рассказывает истории.

— Так! Поскольку вы все еще очень маленькие и ничего про жизнь не знаете, я вам сейчас расскажу про моего первого командира — Драго Вадима Ивановича.

Командир Драго с детства не ел морковь, и потому вырос не выше веника. А ум у него был быстрый, как плевок. И еще он хотел нанести ракетно-ядерный удар прямо от пирса по гнезду мирового империализма — он хотел поразить Вашингтон.

Так вот если где разговоры какие или намеки, или, не приведи Господь, политинформация о положении вещей, то он быстренько пробежится по всем странам, веером их обгадит и оставит себе на сладкое Вашингтон:

«А теперь, — говорит, — о гнезде! О Вашингтоне!!!» — и далее, подробнейшим образом, расстелив карту, обозначает курсы, позиции, время, место выхода в атаку, уклонение и зигзаги.

А глаза его светятся, грудь приподнимается и распирает, сам он летает.

Долго это длилось. Все мы сдавали зачеты по тактике лично ему, и все мы лучше всего были обучены главному: нанесению удара по Вашингтону.

В штабе эти его чудачества старались не замечать, но однажды он заступил оперативным дежурным и вдруг на докладе в 24 часа другому оперативному дежурному, который расположен ой как повыше, его понесло:

«А сейчас, — говорит, — я бы хотел вкратце изложить свои собственные соображения насчет нанесения ракетно-ядерного удара по оплоту мирового империализма!» — «По... чему?!!» — спросили его, — «По Вашингтону!!!»

И наверху наступил пиздец из Ганы!

И длился он ровно сорок пять минут, пока он излагал куда он нажмет и что он для этого повернет, а потом к нему ворвались специалисты по вырыванию позвоночника, выхватили у него из рук трубку, в которую он все говорил и говорил, и положили его портретом в пол, завязав в косынку.

Я его после в больнице навещал. Он там и главврача полностью убедил в своей правоте.

РЫНДА

У нас рынду свистнули, представляете? На ней еще выбито «К-193». Я, честно говоря, никогда не обращал на нее внимания — ну, висит и висит.

А теперь про нее можно говорить: висела. Она в боевой рубке, кажется, висела. «Кажется», потому что на кой она мне. Рубка и рында — это заведование боцмана.

Между прочим, наш старпом, как попкой чувствовал, две недели предупреждал боцмана: убрать рынду. И боцман ее убирал. Как только на корабль приходят эти уроды с ПРЗ — в смысле, матросики с плавремзавода — так боцман, стиснув зубы, поминая царя Давида и всю кротость его, как любит выражаться старпом, снимает рынду, а в ней не меньше сорока кило, и тащит ее к старпому в каюту.

Только они с корабля, он берет рынду и опять водружает ее на место.

Вы, конечно, спросите: почему нельзя ее оставить под кроватью у старпома на какое-то время.

Правильно! Молодцы! Нельзя! Потому что мы служим на подводной лодке в военно-морском флоте России. Вот если бы мы в Танзании служили, то было бы можно. А у нас — нельзя. Поэтому боцман каждое утро тащит ее на себе.

А вот сегодня ее, эта... сы-пыздели. Не успел боцман. Так и остался с открытым ртом и с разведенными руками. Эти пезрзешники нас до белого каления доведут. Со старпомом сейчас же случилась истерика.

— КАК?!! — сказал он боцману. — КТО?!!

И боцман поделился с ним своими подозрениями.

А старпом с ним поделился своими:

— Вот и поручай чего-то важное в этой жизни долбаебам! Если амнезия, так на всю рожу! Почему в России детей делают коленом?! А?!

— Андрей Антоныч!

— Смерти моей хотите? В гроб меня хотите вогнать? Вам приятно будет видеть, как я там лежу? Не надейтесь! Я и оттуда вас всех достану!

— Андрей Антоныч!

— Вы все в сапогах должны ходить. В кирзовых. И в ватниках! Вы в них сто лет назад ходили, сейчас ходите и еще сто лет ходить будите. Потому что недостойны никакого развития! Волы ваши мамы и папы! Нация! Две проблемы у них: «Дураки и дороги». Одна у вас проблема! Одна! Ид-ди-о-оты! А жрать вы будите мусор! Я что сказал? Я сказал караулить! Бдить! «Андрей Антоныч!» Вы бдили? Да? Как? Каким место? Где эти пеэрзешники? Да я сейчас их всех утоплю в ведре помойном. Вирус! Дети распада! Где их начальник? Он у меня будет жрать конину! А я при нем совершу прелюбодеяние!

И вот их начальник уже стоит перед нашим старпомом. Но начальник — лейтенант, в очках, «отвезти-привезти». Старпом на него только посмотрел и сказал: «Мда!» — потом он добавил слово: «Блядь!» — но оно ничего не решило.

Решение пришло в голову нашему старпому, как всегда, со стороны.

— Так! Старший! А есть среди твоих орлов самый авторитетный годок?

«Годок» — это матрос, которому до увольнения в запас ерунда осталась. (Это я так, вдруг среди нас домохозяйки)

— Есть! Матрос Богданов.

— Давай его сюда.

Через минуту перед старпомом стоял верзила Богданов. Но рядом с нашим старпомом тот верзила выглядел, как пудель возле сенбернара.

Старпом взял его за плечо и повернул к себе в каюту. Там он усадил его напротив и вручил сушку.

— Ешь, Богданов! Это теперь твой завтрак, обед и ужин. Когда ДМБ? К ноябрьским? Вот! Не уволишься ты к ноябрьским. И к декабрьским ты не уволишься. И к январьским. Ты теперь здесь будешь жить, Богданов. У меня. Так что располагайся. Спать ты будешь в бутылку, срать ты вообще не будешь.

Старпом продержал Богданова до вечера. Вечером он принес в каюту цепь, чтоб приковать Богданова на ночь.

И Богданов не выдержал. Старпома нашего редко кто долго выдерживает. На лету все дохнут.

Богданов позвонил по телефону на свое драгоценное ПРЗ и с кем-то долго и очень резко разговаривал.

Через полчаса на пирсе стояла рында — «К-193».

ЗАМ

Заму нашему каждый день циркуляр спускают. Уже были: «гласность», «перестройка», «ускорение», «социализм с человеческим лицом» и «демократия». Теперь до нас докатилась борьба с пьянством. Зам после бумаги с «борьбой», будто заново ожил, получил в жилы кровь, а теперь он лозунг приклеивает. Прямо на дверь каюты. Ласково так. Не соображает, дубина, что если дверь открыта, то лозунг вместе с ней в стену каюты уедет. То есть, лозунг «Не пей!» можно на время задвинуть. Я, лично, вижу в этом глубокий аллегорический смысл.

На лозунге «Не пей!», как мы его называем, снизу доверху огромными красными буквами написано:

НИЧТО!

НИ ЗА ЧТО!

НИКОГДА!

Не является оправданием пьянства!

Вот такой текст, а зам его взором гладит. Подошел старпом. Ну, нельзя сказать, что старпом у нас крупный трезвенник и прочее. Посмотрел он на лозунг равнодушно, как лось на колючую проволоку, но потом вчитался и глаза его повеселели.

— Сергеич! — сказал он заму. — А ты чего так радуешься?

— Вам, Андрей Антоныч, видимо, этого не понять.

— Конечно! А ты разъясни. Ты же ради этого здесь пищу жрешь.

— Страна, Андрей Антоныч, начинает новую жизнь. А вы хотите жить по-старому. Не получится.

— А у тебя получится?

— А у меня получится. И собрание сегодня надо устроить. Разъяснить.

— А чего ты будешь мне разъяснять, как виноградники бульдозером портить?

— Я, Андрей Антоныч, не собираюсь с вами препираться. Ваши методы я хорошо знаю.

Тут старпом увидел, что я слушаю, и выслал меня из кают-компаний. И дверь прикрыл. А из-за двери вдруг как грянет.

— Вы совершенно оморденели! Молекулы совести! Кудри чести! Потеряли ум! Да вы его и не имели! Соплями обходились! Что это за позорище? Что ты здесь на дверь вешаешь? На посмешище меня выставляешь? Хочешь, чтоб я на твоём вонючем собрании в грудь себя бил? А работать кто будет? Кто? Ты что ли будешь работать? Да тебе некогда! Языком бы заборы чесать! Как где говно какое-то, так сразу его на лодку тянете! Здесь корабль! Боевой! А не театр с куклами! Зарубите! Себе! Да! Одни лозунги в голове! Да и те не помещаются! Вылезают! С обеих сторон! И концы на уши! На уши свешиваются!!!

.....

В общем, собрания не было.

А лозунг зам себе в каюту перевесил.

ТИФОН

Капитан третьего ранга Забалуйко Александр Тихонович, уходя в запас с подводной лодки, не смог сразу порвать все нити, и потому свистнул «Тифон». А вы знаете что такое «Тифон»? Это невозможная на лодке зараза, на которую, кроме электричества, поступает еще и воздух среднего давления, и в надводном положении, при входе в базу, да и в тумане, можно такие звуки организовать — просто все обосрутся.

Голос у «Тифона» низкий, но глубокий со скорбью и неожиданно сильный.

Александр Тихонович приспособил его в прихожей, сразу вправо от двери. Электричество подвел, а для того, чтоб воздух на него можно было, играючи, подавать, баллон приготовил, который сжатым воздухом предваритель-но набил.

Зачем он это все сделал, станет ясно несколькими строчками ниже, но, заметим в примечании, что если между двумя дверьми при входе в помещение такой незначительный тумблерок не повернуть, то при открытии второй двери в прихожую тебя поприветствует это чудовище — штаны точно стирать придется.

Александр Тихонович всегда тумблерок поворачивал. Отрепетован был: отрыл первую дверь, вошел, рука вправо — тумблер погасил, открыл другую дверь, вошел, повернулся, закрыл все двери.

Дело в том, что часто, Александр Тихонович, и надолго жилище свое покидал. Жены у него не было давно, собаки тоже, зато теперь у него имелось страшилище.

И залез к нему вор. Открыл без особой суеты первую дверь, потом вторую и... и приключился «Тифон».

Вор не только обосрался и обоссался, у него еще сперва случился инсульт, а потом инфаркт.

Александр Тихонович его после в больнице посещал. Курагой выхаживал.

ПАЙКОВЫЕ

Старпом меня вызвал.

— Саня! Я ж тебя помощником назначил.

— Назначили, Андрей Антоныч.

— Так чего же ты стоишь? Сходи в тыл к финансистам и все разузнай. Я от этого охламона начпрода ничего добиться не могу. Что-то мямлит и переминается, как в штаны наклал. Пойди и разберись.

И я пошел.

Нам теперь вместо питания на берегу, продовольственные деньги положены. Нам — это офицерам и мичманам, а матросы так питаются. Только их уже полгода не выдают.

То есть, жратву заменили на деньги, а деньги на будущие деньги.

А сейчас, вроде должны были их отдать, но начпрод за ними сходил, и ему там что-то сказали, и теперь, в разговоре со старпомом, он путает русский алфавит с тюркским и так старается встать, будто он яйца от него бережет.

Я сам видел.

И вот я в тылу.

Должен вам доложить, что поганее места я просто не знаю. Тут у всех на лице написано, что все они полная дрянь.

Пришел я к финансисту. Вхожу — за столом лысый.

— Я, — говорю, — помощник с «К-193». По вопросу пайковых.

И тут начинается кино. Финансист встает и выходит, потом приходит, потом опять выходит.

Я подумал, что он меня не услышал или не увидел. Тогда я встал на его пути и еще раз ему все повторил, а он мне: «Я вас понял, только я вами сейчас заниматься не могу. Не могли бы вы прийти попозже» — «Это когда попозже? Мы уже полгода за ними ходим. Если у вас есть какие-то сложности, то вы мне их изложите, может, и я чем помогу»

Я просто так сказал. Раньше в тыл с тушенкой придешь, и все вопросы за мгновение решишь, а сейчас я с ними только своими анализами могу поделиться.

Пока я про все это думал, я вдруг услышал такое, что даже переспросил.

Этот лысый придурок мне сказал буквально следующее: финансовое положение сложное и денег нет, но он может подсуетиться и деньги достать, а я ему за это с тех самых пайковых должен буду двадцать процентов назад отдать.

Я переспросил, чтоб удостовериться. И удостоверился — вот, сучка, а!

— Видите ли, — сказал я скромно, — я должен с папой посоветаться.

— Конечно! — сказал он очень уверенно.

На том мы и расстались, а я пошел, и все рассказал старпому. Должен же я с кем-то поделиться. Старпом меня тоже переспросил, и я ему подтвердил.

— Иди ты! — сказал старпом, на что я выразился следующим образом, что пойти-то как раз можно, но... после чего старпом решил сходить в тыл со мной.

— Прошвырнись, — говорит, и мы с ним прошвырнулись.

Там, в тылу, перед дверью финансиста, я вдруг заметил, что мой старпом становится каким-то робким, сторбленным, скромным, елейным и чуть ли не собирается бляеть козлом перед этой сволочью. Неприятно все это было наблюдать.

Входим и он:

— Не могли бы вы мне подтвердить то, что я только что услышал от своего собственного помощника.

А эта сука финансовая, раздувается, разваливается и говорит:

— Подтверждаю. Все правильно.

Такой быстрой смены выражения на лице у старшего помощника командира я никак не ожидал. Сперва он выглядел так, будто он встряхивает часы и прикладывает к уху, чтоб услышать, как они тикают, а потом, вроде, он услышал то, что хотел, распрямился, стал на голову выше, и тут лицо его темнеет, глаза вылезают из орбит и становятся красными, а изо рта пена, как пойдет, как хлынет.

Между прочим, не только я с дрожью наблюдал за всеми этими превращениями старпома из овцы в крокодила. У финансиста просто лысина дыбом встала. Не надолго, правда, потому что потом он ему было чем заняться — он вцепился в свое сидалище.

Первым делом мой старпом сломал в кабинете все двенадцать стульев, выстроенных вдоль стены. Потом он разбил картину «Девятый вал», потом сломал шкаф; как клавиши на пианино, переколотил все горшки с фиалками на подоконнике, потом, после секундного колебания, сломал сам подоконник, и тогда только оглянулся вокруг. В комнате нетронутым был только стол, финансист и кресло под ним.

Старпом разбивал стол на квадраты рядом с лицом этого бедняги. Удар — квадрат, удар — еще один. Как ему это удавалось, я до сих пор не понимаю.

Когда со столом было покончено, он обратился к несчастному владельцу всей этой лесопилки со словами:

— Извольте кресло.

— Че...го, простите?..

— Кресло, соблаговолите...

— Кресло...

— Его, его, удосужьтесь...

Кресло было переломано в один миг.

— Ну, теперь, вроде, все, — сказал старпом, оценивательно взглянув на уroda, — Разве что... Тебя как зовут?

— Меня? — совершенно потерялся бедняга.

— Ну, не меня же.

— Меня зовут Вася.

— До завтра... Вася!..

Назавтра нам выдали пайковые. Полностью.

ЖИЗНЬ

— Сядь!

Когда старпом говорит: «Сядь!» — лучше сесть.

Сами, Андрей Антоныч, сидят в каюте только в репсовых штанах «вождь наш Мао» и свитере «чш», что означает — «чисто шерстяной».

Перед ним чудовищный стакан грамм на триста и буханка ржаного хлеба. Он достает еще один стакан и трехлитровую банку со спиртом. Наполняет оба.

Вообще-то, старпом на корабле не пьет, значит, довели.

— На!

Надо брать.

Вообще-то, я тоже не пью. Следует выдохнуть, прежде чем...

— Не бойсь! Градусов шестьдесят, не более...

А я и не боюсь. Главное, не дышать этим дерьмом.

— Вздрогнули!

В глотку вливается огонь. Уй-й!.. бля-я-я...

— Зажуй!

Старпом держит буханку хлеба так, как прочие держат огурец.

— Я только что из штаба флота. Однокашника встретил. С училища не виделись. Лет семнадцать. Бог милвал. В училище он был тихоня и бездарь. А теперь назначен начальником штаба флота и уже адмирал. Я слышал, что он растет, как поганка, но не видел. А теперь дове-

лось. Сподобились. Знаешь, что он мне сказал при встрече? «Что у тебя на корабле можно продать?»... Блядь копченая! Этот мир куда-то катится. Херня какая-то. Морду я ему, конечно же, тут же набил... Еще будешь?.. И я не буду. Согрелись, и ладно... И главное, я с ним жрал с одного котла... Суки! Им на все насрать...

Через полчаса старпом уже спал.

А утром, на подъеме флага он кому-то орал:

— И не надейтесь! Да! Я все еще здесь и хер у вас что получится. Оглоеды! Губы надули! Изготовились! Настроились! Рассупонились! Растарашились! Растопырились! Хер вам! А я сказал: хер! Повторите, что я сказал! Вот! Уже лучше! И жизнь чувствуется! А теперь оботрите нижнюю губу и наострите все свои члены на работу! И чтоб я вас немедленно видел раком! Не знаю! Обмажьтесь чем-нибудь!.. Веселящим!.. Да!..

Ну, и так далее минут на десять.

Знаете, я даже выдохнул: фу, блин — жизнь-то продолжается.

ТАКТИКА

Андрей Антоныч несколько не в себе насчет тактики.

Андрей Антоныч — это наш старпом. Он считает, что пусть даже мы корабль отстоя, но занятия по тактике для офицера — это святое. Каждый день.

«Это чтоб вы все в козлят не превратились!» — любит он повторять.

Оно и понятно, наш старпом из командиров разжалован.

Командиром он был ровно пять месяцев.

Первый месяц он сдавал на допуск к самостоятельному управлению, потом на коротких выходах он шлифовал это дело, а затем сходил подо льды, за что его вроде бы представили к «Звезде», но тут он проверяющему из штаба флота в морду дал, и его отставили. Сначала от «Звезды», а потом от командирства.

Так он и попал к нам на отстой, но любовь к тактике у него сохранилась.

Вообще-то, я его занятия хорошо переносу. Даже интересно. Раньше о тактике таким офицерам, как я — то есть, химикам и этим долбанутым механикам — знать было не положено, потому что секретно все на каждом шагу, а особого доверия мы не вызывали, а теперь всем насрать триста раз, и мы сами учимся, всему вопреки.

Вернее, нас учит старпом. Вот он стоит и распекает Валеру Кобзева — нашего единственного командира группы дистанционного управления, который к тому же

исполняет обязанности командира дивизиона движения и еще он ходит со всякими бумажками на плавремзаводик, чтоб эти суки у нас ничего лишнего не выдернули.

Дивизия наша живет теперь по такому принципу: спускают бумагу «нужен живой компрессор ЭК-10», потом у нас появляются эти сволочи с ПРЗ и меняют — наш хороший на их дерьмо.

— Кобзев! Почему не были на тактике?

Валера, более известный своим выражением «Нас ибут, значит жизни еще не конец!», оправдывается:

— Андрей Антоныч! Вы же меня сами послали!

— Я вас «послали» не на целый день!

Так они препираются, а рядом пять матросов, под руководством великого электрика, мичмана Зубова Модеста Аристаховича, того самого, что недавно у старпома в каюте на крюке пьяненький висел, пытаются затащить к нам на борт компрессор «ЭК-10», для чего проложили палки, положили на него эту штуку, килограмм на триста минимум, и пихают, а на борту стоят еще три недотепы, которые, обвязав компрессор веревками, пытаются его затянуть, под заунывное «Раз-и-иии-раз!!!».

Между прочим, давно идет прилив и лодка из воды все вылезает и вылезает, а компрессор все труднее пихать в гору, а доски под ним так гнуться, что я сейчас остекленею.

Старпом тоже глазом косит и костерит Валеру больше по инерции.

Наконец, он не выдерживает, тычит в Валеру пальцем, «подожди-ка!», и, пока доски под компрессором подозрительно скрепят, птичкой взлетает на борт по концам питания с берега, еще миг — и он вырывает из рук трех недоумков веревочку, которым компрессор обвязан, и так ее дергает на себя, что компрессор «ЭК-10», никак не меньше трехсот килограмм, взлетает пушинкой на борт, а перед этим ломаются под ним доски.

Немая сцена: «Гамлет и его отцовский дух».

— Кобзев! — орет старпом уже с борта, возвышаясь над поверженным компрессором, — На чем мы остановились.

Валера не дурак, воспользовался ситуацией:

— Вы хотели мне бумаги на ПРЗ подписать!

— Нет, Кобзев! — смеется старпом, — Ты это брат брось! С головой-то у меня полный порядок. Мы с тобой про тактику только что говорили! Ну? И где ты был?..

МИНОГИ СОСУЩИЕ

Я вам уже говорил: с корабля все тянут.

Причем все, что угодно.

Годами лежало и никому не было нужно, теперь на вес золота.

Особенно медь, нержавейка и электронные платы. Все исправные приборы и механизмы тоже потихоньку испаряются. Сперва нам хоть что-то на замену давали, а теперь у нас на замену есть одно единственное слово и это слово не «туй».

Это слово «акт». Вместо железа нам дают акты.

Считается, что все отобранное идет на дальнейшее укрепление нашей разлюбезной боеготовности. То есть, страна крепчает, всем наперекор, о чем у нас и бумажки имеются.

Старпом это переносит стоически, то есть, кого попало готов сожрать.

Правда, держится он великолепно. В разговоре со сворой гражданских специалистов, курочащих здесь все и вся, используются такие выражения, как «позволено ли мне будет узнать» и «не соблаговолите ли напомнить».

А свора ведет себя совершенно по-хамски, носится по кораблю с горящими глазами, кричит «обесточте то-то», требует установить вахтенных на месте вырывания, обеспечивающих и прочее.

А у нас старпом людей размножить еще не научился. Не хватает у нас людей. Вот старпом и не выдерживает.

— ПА-А-ДЛЫ!!! — и это сразу после «не соблаговолите ли напомнить».

И дальше:

— Что вы на меня уставились? Что вы зенки свои позалупили? Что вы из меня хотите? МА-РО-ДЕ-РЫ!!! Гие-ны! Огненные! Гривастые шакалы! Черви калифорнийские, могильные! МИНОГИ СОСУЩИЕ!!! Вы — миноги! У вас рот! Вы сосете через рот! Жилы из меня тянете? Вы из меня уже все вынули! У меня уже ничего нет! Ничего не осталось! Родить вам? Что вам родить, я вас спрашиваю? Золото? Серебро? Алмазы? Изумруды? Сапфиры? Каловые камни? ИСКАЛЕЧУ!!! Я вас сейчас всех искалечу! Вон с корабля! ВОН! Ни одного кровососа чтоб через пять минут на борту не было. Это мой корабль! Мой! Личный! Тут все мое. МА-АЕ!!! Тело мое. Вы тела моего жаждите? В какой части? Печени? Может быть, требуху? Попробуйте почек! Хрен вам по всей роже! И не надо на меня смотреть так, будто вы моя надежда и опора! Вы — пыль и тлен! Мусор! А мусор я выметаю! ВЕНИКОМ ПОГАННЫМ!!!

Через час примерно, как «миноги» и «черви» с треском вылетели с борта, появляется их начальник со словами: «Где этот ваш крутой старпом?», — после чего он слышит: «Крутыми могут быть только яйца», — видит нашего песьеголового старпома и в ужасе замирает.

Потом старпом ему говорит: «Так, лахудра, я тебя всю жизнь ждал!» — и они запираются в каюте, откуда еще полчаса слышится треск гражданской одежды по швам и стуканье с еканьем, потом все замирает и мимо каюты старпома никто в этот день уже не ходит.

На сегодня тишина.

Через день все повторяется.

ЛИРИКА

А сегодня старпом лиричен. То ли после вчерашнего, то ли еще как. Вчера стоял такой лай, а сегодня весна, старпом цветет. У нас в кают-компании теперь только чай с сушками, вот ему и налили небольшое детское ведро этой славной жидкости, мы с ним сидим и пьем. На корабле никого, время позднее, и мы общаемся.

Точнее, он меня отловил тогда, когда я совсем уже собрался бежать со слезами от ветра и усадил рядом.

Говорит, конечно же, он, а я должен слушать.

— Вот, Саня, сколько в мире всего. Откроешь книгу и так хорошо на душе. Я же раньше даже читать не умел, в чем я вижу заслугу партии, правительства и государства, а теперь... вот послушай, — старпом выуживает книгу из под стола, одевает очки и с улыбкой читает: «В исследованиях Валлона от внимания Лакана не мог ускользнуть тот факт, («не мог», понимаешь?) что Валлон (о!), ссылаясь на Дар-ви-на и, поддерживая идею о том,.. (ё!) что индивидуальные трансформации в субъекте... (во!) проходят по пути «ес-тес-твен-ной диалектики» (можешь себе представить?) посредством... (мда) посредством раз-реш-ени-я... (и никак иначе) и конфликтов... — старпом прихлебывает из своего ведра, — использовал... (это тебе не хер собачий!) ге-ге-левскую диалектику в интерпретации психических факторов... (о, как!) «в противоположность французской традиции, которая

рассматривает сознание статично, делая его видимой частью предсознательного...» — еще один глоток и... — Е-е-бану-ца можно!

Старпом сияет. Потом вздыхает, снимает очки, смотрит в пол, думает о чем-то с улыбкой и говорит:

— Вот ведь, рыть твою мать! Понимаю же, что все это полная херня, а читать приятно!

Потом он меня отпускает, а сам идет проверять вахту.

МОРСКОЙ БОЙ

Для чего существует кают-компания? Она существует для общения и выработки единых взглядов на вопросы ведения морского боя. Так записано в Корабельном Уставе ВМФ СССР 1978 года. Другого устава нет. Верхние не удосужились пока поменять. Так что общаемся мы по поводу боя на основании устава от 1978 года.

— Сергеич, чайку ебани!

Это старпом заму. Зам вошел, а мы все чай пьем, потому что выпала минута.

— Я, Андрей Антоныч, только что из штаба.

— Неужели?

— Да! Они хотят знать, как у нас поставлена работа по воспитанию патриотизма.

— Все спиздели, осталось только это?

— Что?

— Ничего. Среди кого, спрашиваю, воспитание надо проводить?

— Среди всех категорий личного состава.

— И что ты им поведал?

— Ничего я им не поведал, потому что эта работа у нас никак не поставлена.

— Чайку-то ебани...

— Андрей Антоныч!

— Ну?

- Вопрос стоит очень серьезно. Последние документы...
- И это хорошо!
- Что хорошо?
- Что он вообще стоит. Раз стоит — это хорошо. Хуже, если б он завалился куда-нибудь. Я ничего лежащее не люблю. И висячее тоже. Я люблю, чтоб стоячее...
- Андрей Антоныч!
- Чайку ебани...
- Вся несерьезность наша идет от вас...
- Ты так и будешь стоять, как монумент сказкам Джанни Родари?
- Я...
- Ну, что «я»?
- Я хочу заявить, что подобное игнорирование...
- Чайку... потом попишешь и все пройдет... Я тебя сам до гальюна провожу... А хочешь, над чашкой подержу...
- Андрей Антоныч!
- СЯДЬ! Я СКАЗАЛ!!!
- Зам сел.
- Чайку ебани...

О ПЕРЕСТРОИВШИХСЯ

Зам опять пришел из штаба весь всклокоченный.

Вот, чем меньше у человека конкретной работы, тем больше у него этой самой всклокоченности.

Даже жаль иногда нашего Сергеича, но это только временами. Замов жалеть нельзя.

Это же береговые крысы. В море они тихие.

Оно и понятно, в море же подохнуть можно, вот они и стараются никого не раздражать, а на земле они кого хочешь загрызут. Для того и держат это полчище.

Некоторые у нас замов терпеть не могут. А я, вот, терплю. Старпом тоже.

— Чего такое, Сергеич? — это он к нему на входе в кают-компанию обращается.

— Приказано на каждого офицера составить характеристику, где особо отметить то, как он перестроился.

— Чего отметить?

— Как он перестроился.

— Ты серьезно?

— А что, похоже бывает, что я шучу.

— Да нет, не бывает, но... и как ты это дело отметишь?

— Буду писать все объективно.

— Ну, да.

— А что делать?

— Ну, да.

— Делать-то нечего.

— Вот и я говорю.

— Андрей Антоныч, мне кажется, что вы надо мной издеваетесь.

— Это тебе только кажется. Вы, как только лишились своего любимого марксистско-ленинского мировоззрения, так вам все время что-то кажется. Мерещится все что-то.

— Андрей Антоныч, наши с вами споры ни к чему хорошему не приведут.

— Да как они могут к чему-нибудь привезти, если ты каждый день из штаба приходишь с очередной хуйней. Они там умом тронулись, а ты сейчас им подпевать будешь. Ты лучше водки выпей.

— Андрей Антоныч!

— Водка — она в случаях особой призрачности сознания необычайно помогает. Она связи лишние растворяет.

— Андрей Антоныч!

— Знаю! Знаю, что ты с пьянством борешься. Знаю! Но это же иной случай. Это же не пьянство. Это же способ сохранить себя. Ты на себя посмотри, табло таврическое.

— Андрей Антоныч.

— Клянусь, полегчает. А потом мы с тобой сядем и в тридцать три секунды изобразим на бумаге невиданные идеологические результаты. Сам потом смеяться будешь.

— Андрей Антоныч!

— Вот, смотрю я на вас, на замов, ничего вас не берет. Хоть бы чума какая или же холера.

Потом старпом выгнал всех, что еще ему сказал, а затем взял зама под локоток и, непрерывно воркуя, поволок его в свою каюту.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Ой, что было! Даже жопа в мелкую пупырышку идет, как я про все это вспоминаю.

Я вам как-то рассказывал, что наш старпом однокашника встретил, который теперь начальником штаба флота назначен. Старпом ему еще морду набил, кричал, что он вор, а потом пришел на борт и закручинился — выпил полведра.

Так вот: этот его однокашник и начальник штаба приехал к нам на пирс. Сейчас уже никто не знает зачем. Да, он и сам, наверное, не знает — у него икота, скорее всего, начинается, как он те обстоятельства припоминает.

Дело в том, что старпом наш, на ту беду, наверх выполз.

Вы бы видели Андрей Антоныча, когда эта встреча у них произошла. Он как узрел начштаба, так волосами и оброс и немедленно превратился в горную гориллу-самца с серебристой спиной, встал на задние лапы — это я о горилле, чтоб вы лучше представили, ударил себя в грудь, завыл по-собачьи, и побежал на однокашника, в смысле, на нового начальника штаба флота.

А тот — просто превратился в мелкую макаку — и от него на четвереньках бегом.

Полчаса по зоне мчались, а потом старпом вернулся, с налитыми кровью глазами.

Сначала комендатуру вызывали. Но она не приехала, потому что по гарнизону наш Валера-штурман навсегда стоит, так что ж он совсем больной своего старпома за-

бирать, а потом прокуратура прикатила, и еще кто-то с автоматами, потому что этот однокашник нашего старпома немедленно на него настучал командующему флотилии, флота и, кажется, главкому позвонил.

Пришли старпома с оружием забирать и в тюрьму сажать. Зам куда-то спрятался так, что найти его не получилось. Так что из старших на борту остался только я.

И я приказал верхнему вахтенному приготовиться к стрельбе очередями. Сам я вылез с пистолетом и с дополнительным автоматом. И еще у меня было пять магазинов. Я их разложил перед собой, и залег. А вахтенный мой залег еще раньше. А потом подошли — еще один подменный верхний вахтенный с оружием и помощник дежурного по кораблю — все заняли позиции без лишних слов.

Эти, с автоматами, конечно, обладали по сравнению с нами, некоторым численным перевесом, но историческая правда была на нашей стороне — я им сказал, что не отдам старпома.

Андрей Антоныч, по моему разумению, к этому времени уже должен был в каюте с графином спирта запереться. Так что отдать его в таком состоянии я никак не мог.

— Пошли на хер! — крикнул я на их очередное: «Старшему помощнику командира, капитану второго ранга Переверзиеву, выйти наверх!» — и скомандовал, — Короткими очередями! По три патрона в каждой!

А у меня верхние вахтенные из неграмотной Сибири. Они только спросили разрешения бить очередями через одного, чтоб успеть перезарядить чуть чего. И еще им очень хотелось этим пришлым яйца отстрелить.

Так вот, в разгар событий, появляется — кто б вы думали — сам Андрей Антоныч, абсолютно трезвый.

Потом он дает нам команду «отставить» и идет сдаваться.

Я ему: «Андрей Антоныч! Не ходите!» — а он: «Ты, Саня, совсем, похоже, чокнулся!»

И увели его.

Неделю не было.

Потом появился.

Говорят, его командующий флотом отстоял.

ПЕРЦЕПЦИЯ И МОНАДА

— Знаешь ли ты, Саня, что такое «Перцепция в складках»? Старпом в прекрасном настроении, улыбается, смотрит хитро.

— А что такое «монада»?

Старпом торжествует.

— Сейчас ты все поймешь.

Он выуживает из под стола книгу, кладет ее перед собой.

— Монады суть малые перцепции без объектов, галлюцинаторные микроперцепции. Мир существует только в своих репрезентантах — именно таких, какие включены в каждую монаду. (Вот! Сейчас!) Это плеск, гул, туман, танец праха.

Старпом смотрит вдаль мечтательно.

— Про «танец праха» хорошо.

Захлопывает книгу.

— Когда меня отец дубиной вдоль хребта перетянул в десятом классе, я ему тогда сказал, что он в этой жизни ничего не понимает. Я ему тогда много чего сказал. Уже не помню что. Но про «танец праха» я уже тогда догадывался. Просто сказать не мог. Понимал, но вот сказать... (Гладит книгу) Знал бы я эти слова... я б ему такое выдал... Старина ох-хуел бы на месте...

В кают-компанию входит зам с мороза. Свежий, решительный.

— Сергеич! Ты знаешь что такое «монада»?

Зам немедленно делает себе обиженное лицо.

— Только не надо тут изображать Сикстинскую мадонну. Что такого особенного я у тебя спросил?

— Я, Андрей Антоныч!..

— Ну? Не добавить ли вам ко всему происходящему немного собственной ошеломленности?

— Я, Андрей Антоныч, только и жду от вас всяческих оскорблений. Вы все потешаетесь. Надо мной!..

Голос у зама срывается.

— Вот те на! — Старпом смущен.

— Сергеич! — он открывает книжку. — Смотри! Это же из книжки! Вот! — «... если бы глубины каждой монады состояли из бесконечного множества...» — Видишь? — «... мелких складок (инфлексий)...» — Или, вот еще, — «... спонтанность монады напоминает спонтанность спящего, который ворочается и переворачивается на другой бок...»

Теперь смущен зам.

— Я... Андрей Антоныч...

Оба они теперь не знают что делать.

Я этим делом воспользовался и тихо слинял.

Ничего, помирятся.

ПДСС

ПДСС — это учения. В нашей полуразвалившейся базе прошли учения. Можете себе представить? Даже старпом Андрей Антонович помолодел, и сам, лично, инструктировал верхнего вахтенного — куда смотреть, в кого стрелять. Учения ПДСС — это «противодействие диверсионным силам и средствам». Вот! Все было торжественно и приподнято за ляжку.

Полдня смотрели вдаль — не едет ли татарин, в том смысле, что басурман вонючий.

«Вонючего басурмана» изображали наши же диверсанты из отряда боевых пловцов, которые должны были подобраться, блокировать и взорвать.

Старпом сказал: стрелять без промедления, ибо, по его мнению, только реальная опасность заставляет относиться к своим обязанностям с нескрываемой любовью.

К обеду все как-то само стихло, а после обеда и вовсе сгибло, причем нам объявили, что диверсанты прорвались, все заминировали и взорвали, после чего старпом наш плюнул в окружающие волны.

Потом Валерка-штурман — вечный дежурный по гарнизону — нам все объяснил.

Рассказ Валерки:

— Мама моя! Наверху одни уроды! Вообразите: начальник штаба флотилии небезызвестный всем контр-

адмирал Котопьятов Казимир Антоньевич (папа у него был Антоний), идет себе на службу, а вокруг все, как сдохло, потому что мы с утра кто где крутим задницей, в зарницу играем, диверсантов по всем сопкам ловим, а некоторые еще и в воде шарят, о чем докладывают ежесекундно.

И вот идет он, а кругом тишина напряженной боевой учебы — вымерло, подметено и покрашено местами в зеленое.

И вдруг он видит, как в курилке, у здания его собственного штаба стоит группа морячков и хамски курит. Только они его усекли на горизонте, как собрались вроде рвануть врассыпную, но не тут-то было, потому что Казимир Антоньевич, вспомним его папу, необычайно резв и проворен. В немыслимом прыжке остановил он эту бесхозную шоблу, наорал на них, спросил кто у них старший, от чего старший тут же представился, оказалось это мичман, который от испуга в кустах спрятался.

И спросил тогда Антоньевич, по-отечески сурово, из какого же они экипажа и что за задача перед ними поставлена. Оказалось, что они с экипажа «сто двадцатой», и посланы они в штаб, чтоб ловить, а кого ловить им не сказали, сказали, чтоб всех.

«Ах, вы суки бестолковые, — говорит им ласково, со снисхождением, Антоньевич и, воодушевленный тем, что, мол, только он один работает, приглашает за собой, — ну-ка, все за мной!»

Делать нечего, все двигают в штаб, мимо вооруженных до зубов штабных, и по лестнице, наверх, в кабинет.

И только они приходят в кабинет, как один морячок из этой банды, вовсе и не мичман даже, представляется капитан-лейтенантом и старшим всей группы, потом он заявляет адмиралу, что все они и есть те самые диверсанты, о чем вот у них документ, и перед ними стояла задача без крови войти в штаб, что они и сделали с помощью впереди стоящего адмирала, за что ему большой привет.

Потом они вяжут Казимир Антоньича, делают из него волчью сыть, травяной мешок, а потом один из них стреляет из арбалета, вынутого из ноги, через окно в скалу над штабом, после чего, совершенно без волнения, они

налаживают канатную дорогу, по которой первым поехал мешкообразный начальник штаба, а затем и они все выбрали на волю абсолютно не спеша.

После чего учению объявили конец, а наш старпом от расстройства заплывал все волны.

История со стороны старпома:

— Внимание личного состава! Сегодня состоится учение ПДСС — «противодействие диверсионным силам и средствам», если кто помнит. Наконец! Впервые! За столько лет! Нами заинтересовались диверсанты! И мы не должны это упустить! Модест Аристахович! Освободите пару извилин от своего электричества и встаньте с автоматом на корне пирса. В приближающуюся незнакомую рожу разрешаю стрелять с колена. Эти диверсанты должны знать, что это не только их праздник, но и наш. Надо обеспечить им радость их собственного существования. Жизнь в промежутках между очередями радость и есть. Патронов не жалеть. Тут им не просто так! Хвосты козлам крутить! Тут подводные лодки, елкин корень! Одного вахтенного в корму, у кромки воды, в район руля. Бдить! И чтоб я это видел! Любые посторонние шероховатости водной глади должны немедленно отстреливаться. Я научу и вас и противника ценить восход солнца!

После того, как все выставлены:

— Саня! Ты у нас химик, помощник, дежурный и вообще! Не забывай! Твое место на мостике и с матюгальником, через который ты и должен руководить всей этой ерундой. Есть радисты тебе сейчас же не наладят связь, то я их раздавлю, как прыщ на флотской жопе!

Через час:

— Где же они?!

— Кто, Андрей Антоныч?

— Диверсанты, конечно! «Кто»? Бенджамин в пальто!

Еще через час:

— Не видать?

После того, как стало ясно, что из начштаба флотилии сделали куколку бабочки-могильницы, пристегнули ее к транспортеру и отпиздячили на скалу:

— Коблядь!!!

Интересно, что это за такое? Может, это жена кобеля?

— Надо было и мне родиться полным идиотом! Тогда бы я точно был адмиралом и начальником штаба! Старый дуралей! Решил себя попробовать на канатном поприще! Лучше б штабом своим пропитым руководил! Увидел матросиков курящих и впал в патрульное детство. А они его воспитали. В любви к переодеванию в мешок! А я, как дурак, на полном серьезе оборону корабля развернул. Обрадовался, что вернулись времена. А им, оказывается, не лодки были нужны, а этот штабной придурок! Запомни, Саня, в России бесполезно захватывать штаб — это вам не Германия. Здесь штаб ничего не решает. Это он, когда вениками в поселке метем, штаб, а как война, то у нас все воюют сами по себе! Без штаба! И остановить это невозможно. Все автономны.

И потому непобедимы. Нет, ты прикинь, он на них бросился, потому что они стояли и курили. Он бы еще за мусор их прихватил. Или за подстрижку! Пойду! Пойду немедленно напьюсь, как свинья! И этот дурак командует штабом флотилии? Предлагаю упразднить этот штаб! Он НА ХЕР НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!! Немедленно сократить все их штабные должности! Всех под жопу на пенсию! Окурки собирать! РСПЛОДИЛИ!!! СТРАДАЛЬЦЕВ!!! ОНИ ТЕПЕРЬ НАСЧЕТ РОДИНЫ ТУЧНО СТРАДАЮТ!!!

После этого старпом начал плевать в волны.

Долго.

ЛЕЙТЕНАНТ

Случилось чудо — к нам на отстой назначили молодого лейтенанта. Старпом от этой новости даже привстал.

— Не понял, кого к нам назначили?

— Лейтенанта, Андрей Антоныч, после училища. Штурмана. Командира группы. Теперь у нашего штурмана будет маленький штурманенок.

— Давай его сюда.

И вот входит в кают-компанию молодой лейтенант. Давно я не видел такого сияния. На лейтенанте, естественно, парадная форма и он при кортике.

Старпом даже встал и принял рапорт. Потом старпом сел.

— Как, говоришь, еще раз, твоя фамилия?

— Лейтенант Петров!

— А имя-отчество?

— Леонид Аркадьевич!

— Значит, лейтенант Петров Леонид Аркадьевич?

— Так точно!

Помолчали. Старпом приходил в себя. Потом он пришел в себя.

— Дождались. Лейтенант на флот пошел. Это все равно, что в Волге снова завелись раки. Значит, жизнь продолжается? А, лейтенант? Да-а-а... жизнь не остановить. Это, как гниение. Его же тоже не остановить. Собственно, гниение и есть жизнь. Как считаете, Леонид Аркадьевич?

— Я не знаю...

— Это ничего. Сейчас тебе чего-то не знать не стыдно. Уже года три-четыре у нас лейтенант только до отдела кадров флота в лучшем случае доходит. Там он, рыдая, сусло по щекам, вспоминает маму и увольняется в запас. А ты знаешь, что у нас корабль отстоя?

— Но это же не навсегда?..

— Не навсегда... наверное, не навсегда... хотелось бы не навсегда... — старпом смотрит сквозь лейтенанта вдаль.

И тут вдруг лейтенант говорит:

— А вы меня не помните, товарищ капитан второго ранга?

Старпом произвел над собой некое усилие.

— Я же сын Петрова. Штурмана. Вы с ним лейтенантами начинали. Вы и дома у нас были, только мне тогда лет пять было.

— А-а... Петрова... — старпом не помнит, конечно, но глаза воспоминаниями, на всякий случай, туманит, — конечно...

— Мне отец сказал: «Андрей Антоныч из тебя человека сделает».

Старпом теплеет взором и обращается ко мне:

— Так! Хорошо! Поставить лейтенанта на все виды довольствия. Определиться с ночевкой, выдать зачетный лист. Кто сегодня по кораблю? Вот! И лейтенанта к себе возьмешь. Дублером. Одновременно будет устройство учить. Вопросы ко мне? Нет вопросов! Леонид Аркадьевич, не оставите ли нас с помощником командира наедине?

Когда лейтенант вышел, старпом мне сказал:

— Саня, потомственным бывает только сифилис. Настоящий офицер куется другим куем. Мой папа тоже считал, что если я с пятнадцати лет хожу с ним на медведя и кабана, то буду хорошим лесником. Папа переживает об этом до сих пор. Лейтенанта не жалеть. Жизнь полная лишений и чувств должна быть ему организована незамедлительно. Прямо с порога. Так сказать «по знакомству». Изумление он должен испытывать от нее ежечасно. Устройство корабля будет сдавать лично мне. Через

год он от нас сбежит. Могу поспорить. Начинаем отсчет:
9.30 утра 2 сентября 1990 года. Время пошло.

— А если не сбежит?

— Тогда я съем свою пилотку. При всех.

На том и порешили.

Лейтенанта гоняли целый год. Безжалостно. Он стал лучшим штурманенком дивизии. В основном он в море пропадал, потому что старпом умудрялся прикомандировывать его на все корабли, выходящие в эту сторону.

Приходил — окунался в наше дерьмо.

Старпом будто специально его мордовал. Через год лейтенант не сбежал. Ровно 2 сентября 1991 года, в 9.30 утра я подошел к старпому.

— Андрей Антоныч!

— Ну?

— Время!

— Какое время?

— Пора пилотку жрать?

— Пилотку?..

И я напомнил старпому про наше пари.

— Ах, ты, сволочь! — сказал он. — Неужели при всех?

— Андрей Антоныч!

— Ну, хоть с чаем-то, можно?

— Можно.

И старпом съел свою пилотку.

С чаем.

Полтора часа.

Отрезал по кусочку.

ДЕПУТАТ

— Где зам?

В базе необычное оживление. Встречают комиссию из Москвы. Но не нормальную комиссию, «составленную целиком из профессиональных прохвостов», как любит выражаться старпом, а другую — составленную целиком из профессиональных членов парламента. Что-то они вдруг обеспокоились насчет обороны, растревожились что-то. И зам с волнением с утра на дивизии, где в коридорах стоит восхитительный шорох накрахмаленных ска-тертей.

— Зам не появлялся?

— Не было, Андрей Антоныч!

— Ну, да... «и шушера штабная с утра почуяла весну».

— Откуда это, Андрей Антоныч?

— Из воспоминаний Дуровой, «кавалерист-девицы»... кажется... а может и не Дуровой... Как зам появится, пусть зайдет ко мне на пару ласковых...

— Есть, Андрей Антоныч! Сделаем.

Да! Зам на дивизии. Он там перед глазами мелькает. Вот почему, спрашивается, всякая чушь всегда на глаза лезет?

Пока я все это думал и по пирсу шлялся, к нам пожаловали инспектора — вот, черт побери! — только я отвернулся, как на корне пирса вдруг нарисовалась стая машин. Потом из них все повылазили и к нам пошли.

Я еле успел старпома наверх высвистать.

Вы бы видели, как Андрей Антоныч к ним подходил. Примерно так подходит белый медведь к дохлому тюленю — в развалочку и со скукой — все равно ведь никуда не денется.

Я, как дежурный по кораблю, держался от него на полкорпуса слева и настороженно чеканил шаг.

На пирсе одних адмиралов набралось штук семь. Сразу и не знаешь с кого начинать.

Но старпом, видно, все это и прошлой жизни на херу по три раза в день видел, потому что подошел и доложил так спокойно, будто не он, а они ему должны докладывать.

И зам наш с ними был в задних рядах. Небось, это он нам гостей назвал. Водится за ним такое. Старпом называет такое его качество «высокотемпературным сучизмом» и это я расшифровать не берусь.

— Капитан второго ранга Переверзиев Андрей Антоныч, — заговорил вдруг совершенно неизвестный мне адмирал, представляя нашего старшего помощника какому-то мелкому, гражданскому орлу (а, может, заодно и соколу), — на сколько я понимаю, опытнейший старпом. Так что все, как вам хотелось. А это, так сказать, наша Государственная Дума, депутат... (фамилию тут же забыл). Прошу любить и жаловать.

— Андрей Антоныч, — вдруг запищал депутат, — хотел бы с вами посоветаться.

— А что такое?

Старпом смотрел на «нашу Думу» с тем незначительным снисхождением, с которым даосский дог смотрит на салонную левретку.

— На ваш взгляд, только ли увеличение финансирования поможет возродить военно-морской флот?

Теперь у старпома сделалось выражение, говорящее о развивающемся интересе, потом он хмыкнул, покосился на адмиралов и пробурчал:

— Безусловно! Увеличение финансирования к чему-нибудь приведет. У меня есть к вам встречный вопрос.

— Да?

— И вы ради этого прикатили к нам на пирс?

Честно говоря, я несколько напрягся. Сейчас депутатушка чего-нибудь чирикнет, и старпома понесет.

Но он только повернулся к адмиралам и пролепетал:

— Если вы не против, мы с Андрей Антонычем пообщаемся наедине.

Адмиралы были не против.

— Андрей Антоныч, не пройтись ли нам куда-нибудь?

— Извольте.

И они «прошлись» — на торец пирса. Там они начали говорить, и говорили они долго.

Слышно было примерно так: «Пи-пи-пи... Бу-бу-бу!»

А адмиралы вытянули шеи, как сказочные гуси, но тоже не услышали ни хрена.

Несколько раз до них долетело слишком громкое старпомовское «Блин!», потом слово «Хер!», затем — «На хер!»

На том беседа и кончилась. Депутат подал старпому руку, старпом ее аккуратно пожал, и они расстались.

Как только они исчезнут с пирса, Андрей Антоныч, скажет, что «соседняя труба интересовалась жизнью в нашей», добавит «с больными надо бы помягче», всохотнет, махнет рукой, и мы полезем с ним вниз.

ХАБИБУЛИН

— Вахта! Вахтенный! Хабибулин! Вахтенный!

— Андрей Антоныч, верхний вахтенный не откликается.

Как только я это сказал, а старпом услышал, мы немедленно вскочили. Наверху «Ветер — раз!» — штормовое предупреждение. Я пять минут, как сверху слез. Там ужас что делается. Мы даже концы питания, на всякий случай отдали, а швартовые дополнительные завели и ослабели. А то, по такой буре, они рвутся, как нитки.

А Хабибулина Марата Рауфовича, вахтенного на «верхушке» или верхнего вахтенного, я лично подпоясал и карабином к поручню пристегнул.

А теперь он не откликается, зараза!

— Вахта! Хабибулин!

— Сколько он молчит?

— Минуты две. Я ему приказал через каждые десять минут докладывать.

— Наверх!

И мы со старпомом помчались по вертикальному трапу. Я прихватил два аварийных фонаря и бросил центральный на помощника дежурного.

Наверху тьма и вихри.

— Вахта!

Рот от ветра раздирает. Где же этот урод, под переноской должен стоять? Переноска на месте, а его нет.

— Хабибулин!!! Хабибулин!!!

И старпом находит пустой пояс с карабином. Пристегнут к поручню. Как он из него выпрыгнул?!!

— Хабибулин!!!

И тут сквозь ветер мы слышим стон, что ли.

От воды идет. Фонари в ту сторону. У штормтрапа — голова. И стон.

Старпом мигом, одним гигантским шагом, был на трапе, потом наклонился с него к воде, рукой подхватил нечто и выдернул это «нечто» наверх. Хабибулин.

— Саня, вниз, жива! Да, по «каштану»! По «каштану» скажи, чтоб бегом амбулаторию готовили и в душевой, чтоб вода на расходе была и водоподогреватели включить!

Пока старпом тащил его вниз, я все сделал.

Старпом, как слез со своей ношей в центральный, так и очистил его от автомата и одежды, как луковицу. Потом он помчался с ним на руках в пятый отсек и скатился по трапу в душевую.

А я уже включил горячую воду.

— С ума сошел, горячую? Сварим же! Он же чуть дышит! Холодную! И медленно повышать! Дай, я са-ам!

Старпом одной рукой держал Хабибудина под душем, а другой — регулировал температуру.

— Вот так, Хабибулин! Медленно надо! Ничего! Сейчас очухается! Ты у меня очухаешься, Хабибулин! Сейчас! Вот! Хорошо! Уже!

Хабибулин сперва висел, как тряпка, а потом начал возражать.

— Жить будет! Саня, в амбулатории стол и спирт с водой. Кока за срань и чтоб мне через три минуты было ему питье готово. Теплая вода с медом. Где хочет, пускай мед достает. Не достанет, я ему яйца...

Я не дослушал насчет яиц. В амбулатории в один миг был готов стол, спирт, вода и кок с медом.

Старпом разложил Хабибулина и растер его ладонями. Он смачивал их водой и спиртом и тер, тер, тер. Очень аккуратно, кстати. Потом он влил в него питье и добавил

разведенный спирт. Накрыли Хабибулина тремя одеялами и сели рядом.

Помолчали. Глаза у него были закрыты.

— Дышит, Андрей Антоныч, а?

— Дышит. Сейчас откроет глаза.

Через пять минут он их открыл. Щелки, а не глаза.

Одни щелки

— Хех! Ну, вот! Я же говорил!

— Фу, бя! — выдохнул я.

— Как жизнь, Хабибулин?!! — сказал старпом.

— Хорошо, та-рищ-ка...

КОМАНДУЮЩИЙ

У нас командующего поменяли. Интересно, флот на приколе, а командующие плодятся, как вши на тифозном.

Нашего наверх забрали. Складывают их там что ли? Вот бы увидеть тот амбар. Входишь — и там командующие до потолка. «Вам, — спрашивают, — какого, серого или белого?» — «Нам — говорим, — зеленого».

Этот новый — старпома однокашник. Я так и сказал: «Андрей Антоныч, ваши знакомые весь флот заплонили», — а он на меня так зыркнул, что я тут же нашел себе занятие.

Вчера он вызывал старпома к себе. Знакомились, наверное. В том смысле, что давно не виделись.

Говорят, он ставленник того самого начальника штаба флота, за которым наш старпом, околосев совершенно, со слюнями бешенства по всем пирсам гонялся.

Понятный винегрет. Так им легче флот курочить. Это я старпому не сказал, конечно, ясный мазай, ему и так не сладко. Обложили со всех сторон.

Представляю себе их встречу: «Андрей Антоныч, заходи, дорогой!» — «Товарищ контр-адмирал, старший помощник «К-193» капитан второго ранга Переверзиев по вашему приказанию...» — «Ну, о чем разговор. Знаю! Знаю, что о море мечтаешь... Настоящие моряки... Мы же с тобой с одного котла... Да. Много воды с тех пор... А, помнишь?» — «М-м-м...», — ну, и так далее.

Прошлого своего друга и нынешнего начальника штаба старпом зовет «лунным бездарем», а этого вчера на-

звал «клиническим балбесом»: «Ничего в этой жизни не понимаю. Он же клинический балбес!»

После той беседы старпом пришел серый и в каюте закрылся.

А я рядом шлялся. Потому что мне о заступлении на дежурство надо доложить.

В щель видел, что он на стол поставил стакан и спирт в него налил. Потом долго сидел, смотрел на стакан. Вдохнул и вылил его назад в банку. Не стал пить.

— Саня! — крикнул он мне, — Чего топчешься и подглядываешь? Заходи.

И я зашел.

— Разрешите о заступлении доложить?

— Все нормально?

— Так точно! Прошу разрешения...

— Заступай! Старшим на борту, естественно, я. На отработке по борьбе за живучесть...

— ... вводная: «Пожар на пирсе. Горят концы питания с берега!»

— Вот именно. Выйду посмотреть. Чтоб бегали, как белки. Понял? Не метались, как отравленные крысы, а бегали, как белки. Есть разница. В чем она состоит? Ни одного лишнего движения... — покосился на стакан, — Местная анестезия на сегодня отменяется. Не будем никого радовать. У них свои похороны, а у нас — свои. Все при деле. Просто наши дела немного отличаются. Может, они тоже нужны природе. Может, ей отдохнуть требуется. Природе. Чтоб плечи подрасправить. Все равно, как не крась, сгниет все к ебням. Так хоть кто-то поживится. Один хрен, они ведь потом сдохнут бесславно, а так хоть дачу себе выстроят, и детям своим передадут. С сауной. Дальше сауны у них воображение не пляшет. Они мыться любят. Жгучее желание все время мыться. Подмывать члены. Вот и пусть моются. А я прилягу. На отработку не забудь, разбуди. Ох... и едрен корень...

Через пять минут старпом затих.

Спал он часа полтора.

На отработку я его разбудил.

ПУТЧ

У нас с утра на дивизии путч. Одна тысяча девятьсот девяносто первый год, месяц август. Надо бы запомнить и детям передать. Все бегают, как в копчик стреляные. Штаб шуршит. Двери — хлоп-шлеп! Переживают все с белыми лицами, будто в первый раз в жизни проехали на мотоцикле, а теперь не знают куда кукарекать. Не промахнуться бы. Вовремя бы присягнуть. Штаны бы при этом не потерять. Не обосраться бы.

Зам умчался, как вихрь, старпом на пирсе полчаса смеялся.

И вообще, старпом с утра в приподнятом настроении, все длительно ржет по каждому поводу и говорит кому попало: «Тебя посодют, а ты не воруй!» — после чего и следует гомерический хохот.

Часа три уже потешается. «Ой, — говорит, — не могу! Сейчас лопну!»

Работы никакой, потому спустились вниз и сели в кают-компанию чай пить. У старпома на лице удовольствие и удовлетворение.

Зам примчался и нервно дверь каюты открыл, чем засвидетельствовал свое неодобрение тому, что мы сидим и чай пьем.

А старпом улыбается и хитро так смотрит вдаль.

А у зама все чешется что-то сказать, но он все не решается.

Наконец, решился.

— Андрей Антоныч, вы знаете что произошло?

— Сергеич! Когда ты по пирсу метался, как бобр, оставленный без плотины, и себя не помнил, ты мне еще тогда все объяснил. Да, я и по радио слышал. У нас же радио есть. Не под водой, чай.

— Андрей Антоныч! Должен вас спросить по поводу вашего отношения к происходящему.

— Ну, спроси.

— Андрей Антоныч! Как вы относитесь к происходящему?

— Сергеич! В детство только с манной кашей впадать не надо и слова со смыслом путать тоже не надо. Вот и все, так сказать, мое отношение к происходящему.

— Андрей Антоныч, могу я с вами поговорить наедине?

— А зачем? Тут все свои. Все бывшие коммунисты. С партбилетами от не своей крови красными. Чего стесняться? Что тут долго говорить. Путч у нас! ПУТЧ! В нашей Латинской Америке путч! Хунта! Всех к стенке. Перестройку поддерживал? Списки «перестроившихся» подавал? Кто тут по поводу патриотизма бегал, бельем тряс? Расстреляют. Всенепременнейше шлепнут. Пулей. Но ты то что так суетишься, не понимаю. Время у тебя есть, успеешь перекраситься. Хочешь, я тебе краски дам? Полведра сурика. Кисточка у тебя своя?

— Андрей Антоныч!..

— А дети твои будут кричать: «Тятя! Тятя!» — но их никто не услышит. Ты же теперь враг народа. Знаешь, в какую сторону повернул народ? Народ назад повернул. А ты не успел. Тебя на повороте занесло и оторвало. Как от трамвая. Ты за подножку его цеплялся. А он слишком здорово дернул. Как теперь фамилия вождя? Никак не запомню. И наш Язов туда же полез. Молодец. Ты чего на дивизию бегал? Там же буря. Ненастье. Все снизу мокрые.

— Андрей Антоныч!..

— Текст присяги принес? Как мы будем присягать без текста? Наизусть? Строем или по списку? Списки готовы? Ты там уже указал кто из бывших свой партбилет

сырым не съел? А твой партбилет где? Можешь показать? А текст обращения к народу, мол, время трудное, уже распечатали?

— Андрей Антоныч!

— Что, «АНДРЕЙ АНТОНЫЧ»! Что ты тут мечешься, не помня себя! В зеркало посмотри! Может, утереться самое время! Что ты тут слюни распустил? Ты же офицер! Или уже нет? Вот и заткнись! Все, чтоб заткнулись! И сопля свои проглотили! Хватит! Похохотали! За работу! А насчет этой ХЕРНИ, прошу всех не сомневаться! Оргпериод на флоте длится только три дня, хоть на бумаге написано «десять»! Через три дня кончится! ВСЁ! Все свободны!

И все стали свободны.

А старпом оказался прав: через три дня все кончилось.

ЛИРИКА

— Ты, Саня, куда пойдешь после увольнения в запас? Старпом сегодня чувствителен, поэтому и задает вопросы об увольнении в запас.

— Не знаю, Андрей Антоныч. Мне идти-то особенно некуда. Родина у меня в Азербайджане осталась. То есть, родину у меня отняли и на этом простом основании, я, наверное, выберу себе другую родину.

— Какую кочешь?

— А можно?

— Сегодня — да! Разрешаю!

— Я б Испанию выбрал.

— Зачем тебе Испания?

— Там тепло. И солнце.

— А-а... а я свою Мещеру ни на что не променяю.

— Так, у вас ее никто не отбирал.

— Вот и я о том же... Кррра-ссс-ота!

Входит зам.

— Сергеич! Вот Саня себе, в качестве родины, Испанию выбрал. Я думаю, справедливо. Как считаешь? Тепло, солнце и король о людях — ударение на последнем слоге — заботится, потому как потребность к тому имеет.

— Андрей Антоныч, мне все кажется, что вы меня все время пытаетесь чем-нибудь уколоть.

— И правильно тебе кажется. Пытаюсь. Потому что если вас не колоть, то вы тут до небес распухните. Всё, Сергеич,

должно испытывать сопротивление. Даже органы внутри тебя испытывают его — сопротивление. Со стороны других органов. А если б не испытывали, то выросли бы очень. Вот, возьмем, например, твой детородный орган...

— Андрей Антоныч, мне кажется, вы увлеклись!

— Хорошо! Не будем брать твой детородный орган, возьмем другое.

— Я вас даже не слушаю.

— Нет! Тебе, брат, придется нас выслушать, потому что речь у нас идет о родине. Вот, что такое родина? Ответь.

— Я...

— Не знаешь? Так я и думал. Ладно, не буду. Саня, давай, отпустим Сергеича. Ты не против? Сергеич, иди!

Зам, поджав губу, хлопает дверью каюты и возится внутри.

Старпом, улыбаясь:

— Родина, родина... Заметь, даже такие столпы патристической... (прислушался к замовскому шуршанию)... воспитательной... и образовательной работы, как наш Сергеич (зам от обиды все еще возится в каюте), даже они... стержни и жупелы... не знают что это такое. Парадокс, Саня? Не знаем что защищаем? Парадокс... Почтище, чем парадокс Даламбера... Мда... родина... А мне все кажется, что родина — это воспоминания... память человеческая... тебе что-то видится... наяву... в такой призрачной, теплой, уютной, мягкой, как мамин бок, дымке... какие-то сценки из детства... и место должно быть... оно тоже из детства... когда бегали, смеялись, творили ерунду... и не боялись ее творить... когда мы мечтали и спорили... когда были смешные, трогательные, верные... когда просыпаешься утром и тебе хорошо... а потом это накладывается на природу: ветер, море, небеса и... готово: на душе все здорово... А? Как?

— Ну, не знаю...

— Я прав?

— Наверное...

— Наверняка... Давай, примем это, как рабочую гипотезу? Согласен?

— Согласен.

— Тогда всё! Сер-ге-ич!!! Сергеич!!! Заместитель командира ракетного подводного крейсера, в недалеком прошлом, стратегического назначения, по воспитательной, так сказать, работе! Сергеич!!! Кому сказано! Вылезай! Мы знаем что такое родина!..

РАСШИРЕНИЕ НА ВОСТОК

Нравится мне тактика в изложении старпома. Вот не было бы его, и откуда я бы знал про ракетную атаку, режимы связи, и торпедную стрельбу?

Раньше нас пихали в бочку и пускали в океан, и каждый должен был свое вертеть, чтоб она дальше плыла. Но при этом никто не должен был знать что сосед делает, потому что предполагалась наша абсолютная тупость, ненадежность и природный сволочизм.

Теперь всем по хую, и старпом нас учит.

Оно и приятно.

Старпом вообще любит рассказывать.

Все, что он когда-либо читал, становится объектом обсуждения.

Как старпом устанет, он сейчас же уступает место заму, и тогда мы слушаем другие истории.

Зам просвещает нас насчет врага — лик нам его юридически открывает.

Потом старпом садится в кают-компанию и мечтает.

— А мне вот видятся подводные корабли будущего: маленькие такие, незаметные. Они подходят к берегу ползком, проходят противолодочников, боны, потом с них пловцы вышли и заминировали все побережье — картина, я вам доложу!

Старпом сощурился и отхлебнул чай.

— Все мыслящее вздрогнет!

Входит зам, он сегодня про продвижение НАТО на восток кликушествовал и старпому это, кажется, не понравилось:

— Сергеич! Ну, ты сегодня дал!

— Андрей Антоныч! В ваших словах есть подвох.

— Неужели?

— Да!

— А ты должен парировать все подвохи. Ты должен быть к ним готов. Я так считаю. Тебе зачем здесь место греют? Ты должен знать и предугадывать.

— Андрей Антоныч!

— А что ты так к НАТО привязался? Ну? Расширяется оно! Ну, на восток! А ты хотел, чтоб на юг, что ли, оно расширялось?

— Я...

— Нет, ты погоди! Обоснуй! Только без рывка на себе белья. Я этого не люблю. Я эмоций, как ты понимаешь, ни от кого не жду. Я жду логику и смысл. А ты, значит, считаешь не совсем естественным то, что они туда расширяются? Но это же их собачье дело куда расширятся, а не наше, собачье.

— Хорошо! Я скажу! Они завтра будут в нашем полигоне БП!

— А что их стесняет появиться в нашем полигоне? Да, они из него никуда и не уходили? Они там появлялись, появляются, и появляться будут, несмотря на все твои слюни! Жизнь! У них такая! И задача! У них такая! А твоя жизнь! И твоя задача! Их гонять по этому полигону! Безудержно! Обнаруживать и гонять! Отрабатываться! И не давать подходить к границам! И нечего тут сопли по щекам размазывать — «расширение». Вы существуете только ради того, чтоб они к вам лезли, а вы бы сопротивлялись! От вас ждут противодействия. Все лезут ко всем! И без разницы, НАТО это или малайские пираты!

Зам обиделся и ушел.

Помолчали.

Потом старпом рассказал мне о том, как сажали Томмазо Кампанеллу нажали на кол.

КРЕЙСЕР

Свершилось. Наша база выползла на торпедную стрельбу. Почему «наша база»? Потому что людей наскребли со всей базы. И корабль выставили только один. И вся штабная шушера на него сейчас же села, потому что ей давно в море пора. Старшим — командующий флотилии, а наш старпом с штурманенком был посажен на «тэ-эл» — на торпедолов, обеспечивать.

И наступило счастье. Старпом в его преддверии все ходил, улыбался, и пел себе под нос русские народные песни и еще «Вышла замуж я за партизана» на манер старинного романса.

Но без приключений не обошлось. То, как они никак погрузиться не могли, а потом никак не могли всплыть — это не приключение, а отдельная ерунда и мы о ней говорить не будем.

Мы лучше расскажем, как на них американский крейсер напал. То есть, сначала он на них, а потом... но лучше по порядку.

Вышли и пошли, пошли, пошли, понимаешь, в район стрельб, заняли его и — давай пулять торпедами.

И вот появляется крейсер. Такой увесистый утюг, что представить страшно.

На полном ходу он прет на лодку, а по дороге вывешивает флаги международного свода, мол, у меня авария, неисправность, не соображаю, не могу себя сдержать.

Еле нырнули и в сторону отскочили, и так раза три подряд, потому что мелководье, сто метров под килем, и если б он над ними прогрохотал, то брюхом бы весь грунт на дне изрыли.

Потом наши всплывают, кричат «торпедные аппараты «Товьсь!»», а что там может быть «Товьсь!», если боевых торпед все равно нет и этот американский придурок отлично все понимает, его воздухом через дырочки на носу не очень-то испугаешь.

А Андрей Антоныч в тот момент сильно переживали, бегали, хватались за поручни ручками и жутко сжимали все подряд, то, белея, то, краснея телом.

При этом они говорили такое... ТАКОЕ, что некоторые выражения лучше бы спрятать за «та-та-та»... вот например:

— Ах ты, сука — та-та-та! Что творит, та-та-та, поскребьш! Ты посмотри что — та-та-та — тварь, творит! Распоясались! Та-та-та совсем! Соскучились совершенно! Меня на них нет! Нет на них меня, я вам так скажу! Я б ему, гаду!.. Яйца между пальцев и об седло! И чтоб всю его волосень на кулак и об... Гляди!.. Ты гляди! Нет, ты гляди!.. Я тебе говорю: ГЛЯДИ!!! Что делает, та-та-та... Ах, ты, засранец!!!

И тогда приказали старпому на тэ-эле отогнать крейсер. Это как крысе напасть на динозавра.

А Андрей Антоныч, обретая в который раз за этот день бодрость и здоровье, подскакивает к обалдевшему мичману — командира тэ-эла и орет:

— Где твое оружие?!!

— Мое?

— Жуй быстрее! Не мое же! Твое! Любое! Какое есть?

— Два автомата АК и ящик патронов.

— Тащи сюда

И вытащили.

Ящик.

А старпом так вооружился автоматами, причем, сразу двумя, что из его полуметровых ладоней только два жалких дула и торчало, после чего он пошел на «вы».

Около мене! Крейсер в сторонке отдыхает и с интересом наблюдает за приготовлениями, а тэ-эл разогнался и на него попер.

Американец-то знает, что оружия на тэ-эле не водит-ся, и поэтому спокоен, как гавайская мотыга.

А старпом подлетел ему под борт и ударил с двух стволов, и все американские головы, свесившиеся было на нас сверху поглазеть, сказали американское слово «Я!» и немедленно спрятались, как бы рекошетом не зацепило.

Американец врубил ход, а тэ-эл не отстаёт, держится в мертвой зоне для вражеской артиллерии и из автоматов поливает — патронов-то полно.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если б американец опять не сбросил ход и на чистом русском языке не сказал бы на все море в мегафон: «Поражен вашей наглостью! Как расходиться будем?»

«Никак! — ответил старпом совершенно без мегафона. — Я еще должен в тебе дырку просверлить!»

После этого разговор пошел такой: «Эй, капитан, тебя как зовут?» — «А тебя?» — «Меня — Джонни. Я из Бостона», — «А я из Мещеры. А как зовут меня — не важно», — «Не слышал про такой русский город», — «Это не город. Это — лес», — «А-а... тогда понятно», — «А ты где язык учил?» — «Бабушка из России» — «Чего тебе здесь надо, Джонни с русской бабушкой?» — «Меня послали немного на вас отработаться» — «А меня послали немного отработаться на вас» — «Может, завяжем это дело?» — «Ну, давай, завяжем».

И завязали.

Потом у старпома начальство долго спрашивало: о чем же, собственно, шла у них речь, на что старпом неизменно отвечал: «О социальном происхождении!»

КОМИССИЯ

Комиссия прибыла. По разоружению.

Одни американцы, за исключением парочки скандинавов.

Ходят, бродят по базе и наши начальники рядом семечки жуют. Будто дети малые.

И в рот заглядывают — тьфу!

Старпом, как все это увидел, так и плюнул себе под ноги — длинным, категоричным плевком.

А зам в штаб умчался на разведку обстановки.

Потом прилетел — уже разведал.

— Комиссия оценивает состояние нашей техники и определяет необходимые объемы предстоящих сокращений.

— Здорово, Сергеич, как по писанному. Неужели ты их документы посмотрел?

— Это нам начальник штаба сообщил.

— А-а... ну, да! Как же я замятовал! Наш начальник штаба флотилии с удивительной легкостью запоминает фразы потрясающей длины. Сейчас они ему определяют... необходимые объемы.

— Андрей Антоныч! Ну, почему во всем надо видеть только плохое?

— А я во всем теперь вижу только хорошее! Прибывает мой любимый враг и оценивает мою боеготовность. Есть от чего впасть в восторг.

— Между прочим, официально, они нам уже не враги.

— Конечно! Они нам теперь враги неофициально.

— Андрей Антоныч! В мире накоплено столько оружия, что человечество, при желании, можно было бы уничтожить несколько раз.

— Сергеич, избавь меня от, чуть не сказал, куриных испражнений! То есть, от тривиальности. Я тебя просто прошу. Ради Христа! Только не надо мне тут! Пожалей, колом мать!

— Ну, а что такого?

— Ничего такого! Я за человечество и его спасение. Только спасение всего человечества, почему-то, принято начинать с нас. Мы должны раздеться, даже если нас о том не просят, а потом по попке нам кто хочешь надает. Чудненько! Я все понял. Надеюсь, наше корыто их никак не интересует? Их, конечно же, интересуют «Акулы»!

— Как вы догадались?

Старпом даже задохнулся.

— Догадались?! Об этом не надо догадываться! Остались самые боеспособные лодки! И те скоро от бескормицы сдохнут! Вы там ближе! К начальству! Дорогой наш зам! Вот и скажите ему! Что вооружение зависит от стоящих задач! Если задача стоит украсть поболее, то это одно вооружение. Если кредиты надо поиметь, то это другое вооружение! Если надо эти кредиты спиздить, и с народа потом содрать — это третье вооружение! А если надо спиздеть, содрать и не отдавать — это четвертое вооружение! НУ, И! КАКОЕ! БУДЕМ! СОКРАЩИТЬ? А? ЧТО? ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ?!!

Разговор происходил на торце пирса. Старпом гремел на всю округу, а комиссия по разоружению как раз двигалась вдоль береговой черты, останавливаясь перед каждым пирсом.

Старпом оттремел, и они только-только подошли к нам.

— Монинг! — сказала ему комиссия.

— Ещ-щще бы! — сказал старпом, повернулся к ним задницей и пошел на лодку.

ДЕНЬГИ

Значит так: пять месяцев денег не дают.

То есть, решили офицерам увеличить денежное довольствие в три раза.

И увеличили.

Теперь — не дают.

А в финчасть просто так не пробраться, у них там вахтенный с автоматом. Но от нашего старпома это не спасает, поэтому они просто дверь запирают на ключ.

Дверь хорошая, железная, не сломаешь, не взорвешь.

Сначала все друг у друга деньги занимали, а потом старпом вот что придумал:

— Лето же на дворе. В сопках — ягода, в реках — рыба, скоро грибы. Пошлем народ на заготовки. Свободных от вахт, подсменных, всех туда. Сам покажу, как рыбу ловить и солить.

И стали мы делать заготовки — ягода, рыба, грибы. Экипаж носит, жены перерабатывают, потом все делим.

И все бы хорошо, пока не напоролись на адмиральское озеро.

Случилось это утром. В ночное ушла бригада вместе со старпомом на озеро Дальнее, утром они к нему вышли и — одни ягоду косят, другие рыбу носят.

Вдруг бежит им навстречу мичман и матрос. Подбегают, запыхались:

— Здесь... ловить нель... зя!.. Нель... зя-я-я... з-здесь...

— А что так? — насторожился старпом.

— Это о-озеро ад-ми-ральское.

— Какое?!!

— Адмиральское. Здесь командующий запретил всем ловить. Его озеро.

— Значит землю, воду и леса поделили... и остались небеса?

На старпома стало страшно смотреть. Он покраснел, как рак, глаза вылупил, губы надул — сейчас сожрет. Старпожа адмиральского озера — мичман и матрос это как-то без слов поняли.

— Мы же не виноваты!

— !!!!

— Нам приказали!

— !!!!

И тут старпом лицом подобрел. Старпом у нас добрее, если он что-нибудь придумывает.

— Я вам алиби придумал.

— Какое... алиби?..

— А вот, — и достает старпом из кармана веревку.

Через минуту они уже были связаны. Попарно. И была их — ровно одна пара.

Потом они были отправлены к командующему со словами «и скажите, что на вас напал одичавший старпом с «К-193».

Вечером все ждали расплаты, и вяло пили чай. Один старпом был безмятежен.

Зам все вскакивал и бегал к себе в каюту.

— Сергеич! — не выдержал старпом его очередного вскакивания, — Ты, чего, животом болеешь?

— Андрей Антоныч! Не понимаю вашего спокойствия.

— А я не понимаю чего ты покрываешься болотной сыпью до срока и из темных копей выпускаешь трель дрозда. Чего трясешься, как овечий выродок? Ты-то здесь причем?

— Я-то? Я-то?

— Ой! Только не надо растить в себе государственные органы! Не надо! Тебе это не к лицу. Тебе к лицу цвет

розовый, здоровый! И улыбочку, не забудьте. Не гримасу на лицо, как презерватив вчерашней свежести, а улыбочку. И больше веры в будущее! В грядущее! Вот идем мы с тобой, Сергеич, в грядущем, соблюдая во все комплементарность, и каждая тварь дрожащая нас узнает, бросается со словами благодарности, мол, только вы, Сергеич, только благодаря вам. И не надо ломать руки перед лицом вечности. Лучше ломать ноги. И лучше ломать их не себе. Вот иду я как-то...

И тут раздается вызов «каштана»: «Кают-компания! Старпом есть?» — «Есть!» — «Товарищ капитан второго ранга, вас к телефону!» — «Ну!»

Зам лицом сделался беспокойный. Старпом усмехнулся.

— Воды выпей! И вот еще что...

— Что?..

— И глубоко вздохни.

Через минуту старпом вернулся.

— Так! — бросил он, входя, — Роды прошли успешно, чудовище вылупилось. Значит, так! За глаумление над мичманом и матросом мне объявлено лично командующим трое суток ареста с содержанием на губе. Для старших офицеров она только в Североморске. Там у меня приятель служит. Забубенько Сергей Олегович. Саня, завтра же отвезешь туда мой продаттестат. Я ему еще записочку напишу. Потом поеду я. Лягу там на дно суток на трое.

Так и сделали. Старпом съездил и отсидел.

Когда он появился, немедленно назначена была новая экспедиция на озеро Дальнее.

— Саня! — подозвал он меня, как только они опять собрались, — Подозреваю, что сторожей там стало значительно больше. Найди-ка мне веровочек, но так, чтоб на целый взвод хватило.

И я нашел ему «веровочек».

На целый взвод.

И они отправились.

Но ничего, обошлось.

Потому что вахта с озера пропала.

КРАБЫ И РЭКЕТ

Мы еще крабами занимались. Договорились с бригадой насчет катера, старпом научил нас делать крабоволовки и наладили мы крабодобычу.

Все в поселке завидовали, а мы ловили так аккуратно, что не подкопаешься.

Начальство, вышестоящее, несколько раз пыталось к нам сунуться, но даже зам при этом имел отработанное лицо, и ничего у них не вышло.

А мы — ноги крабам обломаем, мясо по морозилкам рассыем, а крабовый панцирь продаем японско-корейско-китайским ресторанам, и они из него специальный суп варят, очень помогающий от увядания.

Деньги в общий котел, и старпом делит. Даже всем матросам пай выдавался при увольнении в запас. У старпома специальная тетрадка на этот счет имелась, где он все это вычислял с помощью коэффициентов соцсоревнования, которые наконец-то пригодились.

А потом нас нашел рэкет.

Прямо на пирс прилетели.

В одно прекрасное утро, можете себе представить, на пирс въезжает джип «Чероки», из него вылезает пятеро амбалов, которые через верхнего вахтенного просят старпома выйти наверх.

И это при том, что у нас кругом колючая проволока и КПП!

А меня в центральном не было, и помощник, дубина, ничего не подозревая, вызывает старпома к «гражданским специалистам».

Потом пришел я. Чую, что-то не так:

— Где старпом?

— Гражданские специалисты на пирс приехали.

— Как это «приехали»?

— На джипе.

— На джипе?.. И давно они там?

— С полчаса.

Я винтом наверх и к верхнему вахтенному.

— Хабибулин!

— Я, тащ-щ-ка!

— Где старпом?

— На КДП, с гражданскими?

— Много их там?

— Пять, однако.

Я обошел джип. Они даже внутри никого не оставили. До того, собаки, уверены в себе.

— Тащ-щ-ка! Тащ-щ-ка!

— Ну?

— Это не специалисты.

— Знаю.

Что делать? И тут меня осенило.

— Так, Хабибулин, знаешь ли ты, что тебе нельзя передавать свой автомат никому, в том числе и мне, поскольку я дежурный, а не разводящий? А? Закон об этом прямо говорит. Закон об этом предупреждает, Хабибулин. А ты что делаешь?

— ?!!

— Ты, несмотря на закон, отдаешь мне автомат!

С этими словами я снимаю с него автомат, проверяю патроны, подмигиваю ему, передергиваю затвор и, спрятав его под ватник, рысью направляюсь на КДП — контрольный дозиметрический пост на корне пирса, а через «каштан» перед этим я, досылая патрон в патронник пистолета, вызываю подмогу — помощника с автоматом.

На КДП я вошел через другую дверь и так, чтоб поймать обрывок фразы. Надо было понять о чем идет речь.

И я ее поймал.

— Мы все равно этот город контролируем со всеми потрохами, и тебе от нас не уйти.

Ага. Это они старпому. Разговаривают, значит.

Я через щель в двери стараюсь поймать его взгляд, но он, как назло, смотрит в пол.

Но вот он глаза поднял, меня увидел и потешел.

А я медленно приоткрываю дверь, чтоб обзор получше иметь. Точно, их, зараз, пять. Потом я, нарочито громко говорю: «Товарищ капитан второго ранга, вас комдив к телефону!» — и вхожу в помещение.

Автомат, к тому времени, у меня уже с помощью дула ищет себе предмет для короткой, но жаркой любви.

Народ не ожидал. Расслабился совершенно народ.

А я достал еще и пистолет, а автомат старпому, как мячик перебростил.

— Кстати, — говорю, — окна у нас тут тоже небеспризорны. Так что лучше бы вам ручки вверх поднять.

Они подняли, а я все, что у них нашел, на стол перед старпомом выложил.

— Ловко вы нас, — сказал один из этих орлов, усмехнувшись.

— Так ведь учили. — сказал ему старпом, — В войну играть. Но лучше к делу. Все будет идти, как и шло. Потому что мне с моим войском жить надо. Если японокитайцев моих тронете, то мне придется вас всех перебить. Я вам не мама, я вас точно всех перекокаю. Еще раз приедете, похороню вместе с джипом. Мне его с пирса в воду толкнуть, все равно, что зайке пернуть. Стреляю я хорошо. Белке в глаз. Кто у нас в следующий раз будет белкой, решу заранее. Вас об этом известят. У вас старшего, кажется, Слоном зовут? Скажите ему «привет от Мамонта». Это у нас будет пароль. А теперь тихо, привыкая ходить по одному в колонну, следуем до транспортного средства, — как только они тронулись в указанном направлении, — Стой! Совсем за-

был. А как же гостинец? Сейчас я вам гостинец быстренько сварганю.

С этими словами старпом взял лопату, стоящую в углу, и свернул ее железную часть в небольшую трубочку.

— Это от меня Слопу, — сказал он, вручая лопатоурода старшему, — Саня, проводи народ. Только пукалки им верни, а патроны вынь. На всякий случай. Вдруг они без мозгов.

Я так и сделал.

Больше мы тот джип не видели.

ПРОВОРОТ

Вы знаете, как Андрей Антоныч относится к провороту. То есть, к проворачиванию оружия и технических средств, я хотел сказать.

Он к нему хорошо относится. Я бы даже сказал, стрепетно он к нему относится.

А тут прислали телефонограмму: «В 8.30 выделить на расчистку снега по тридцать человек с экипажа с ломами».

У нас снег уже три года не чистили, потому что командующие менялись, и многим из них не до снега было.

Так что к началу девяностых в живых остался только один бульдозер. Он всю ночь работал, а к утру устал и поехал спать.

После его работы такие горы снега остались, что принято было решение столкнуть их в залив.

Ломами.

Там в вышину больше трех метров.

А у нас проворот. Андрей Антоныч как узнал про бульдозер, расчистку, ломы и пять метров, так пятнами и пошел. А если Андрей Антоныч идет пятнами, тут я вам доложу, можно сразу пердеть.

— Кобзнев! — подзывает он нашего самого большого механика, — Проведешь проворот, а я с ломом прогуляюсь. Саня! Бери еще один лом и за мной.

Так мы с ним и пошли на участок зоны. У нас вся зона на участки поделена. У каждого экипажа свой, а поскольку экипажей мало, то доля каждого большая.

У нас примерно километров пять.

Картина такая: вдоль залива идет гигантская гряда из снега и трехгодového льда, и нам ее в залив надо спихнуть двумя ломами.

Первым делом старпом швырнул свой лом в эту стену и плюнул ему вслед.

Я тоже швырнул и плюнул.

Постояли.

— Ну, что, — говорит старпом задумчиво, — неплохая тренировка, — после чего мы набрасываемся на эту гору.

Потом нам на помощь еще два подвахтенных пришли и Кобзев, закончивший проворот. Они принесли лопаты и «грейдер» — это железный лист, исполненный в виде совка с одной большой ручкой. В него впрягаются два матроса, наступая друг на друга, которые и сваливают весь лед, отколотый от горы в залив.

Часа три мы так паримся, потом останавливается около нас волга командующего и командующий из нее начинает разговаривать с Андрей Антонычем, потому как они с ним однокашники, а мы стоим по стойке смирно и ждем конца разговора.

А он все не наступает.

После серии взаимных оскорблений, они распалились настолько, что командующий вылез из машины.

Самым приличным словом, сказанным Андрей Антонычем в нашем присутствии командующему, было слово «хурь» с большой буквы.

Как только оно отзвучало пятьсот раз подряд, командующий сел в машину и уехал, а мы бросили снег, закинули ломы на спину и пошли чай пить.

Сидим в кают-компании, пьем чай. Влетает зам.

— Андрей Антоныч, нам надо серьезно поговорить.

— Говори!

— Пойдемте ко мне в каюту.

— Здесь говори! Они все равно все слышали.

— Андрей Антоныч!

— Ну? Что? Что «Андрей Антоныч»?

— Я видел готовящийся приказ на ваше увольнение в запас!

— Знаю!

— Что вы знаете?

— Что готовится такой приказ.

— И вы так спокойны?

— А что мне прыгать что ли?

— Андрей Антоныч, позвоните командующему.

— А что я белены объелся? Я с этим командующим за одной партией сидел и пусть только попробует меня уволить в запас без моего ведома. Я ему уволю в запас.

— Андрей Антоныч!

— Не звени! Мифодий! Как вилки в нержавеющей тазу! И не дрожи! Что? Сжалось очко-то? Не железное? Ничего не будет. Буря в стакане. Я его в детстве точно так же воспитывал. Действует. Вот увидишь. Сейчас позвонит сам. И все уляжется. Он знает, что меня во время проворота лучше не трогать. Сам виноват. Зачем тронул?

Из «каштан»: «Кают-компания!» — «Есть!» — «Старпом есть?» — «Есть!» — «Товарищ капитан второго ранга! Вас к телефону!» — «Иду!»

Старпом пошел в центральный. Зам смотрел на дверь, как собака, провожающая хозяина.

Наконец, старпом пришел:

— Пять суток ареста! А ты боялась! «У-у-во-лят!» Щас! Как же! За-лю-буются пыль глотать! Куда он меня уволит? На Луну, что ли? Саня! Готовь аттестат для губы. Сергеич! Да не дрожи ты так, несчастье мое! Смотри, как лицо-то повело и скисло. А? Ну? Что? Эх, блин, сейчас бы соснуть минут шестьсот! А? Сергеич!

И старпом соснул.

Минут шестьсот.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА

Готовимся к показательной стрельбе. Торпедами. Всей базой. Нам уже заказали КБР.

КБР — это корабельный боевой расчет по выходу в торпедную атаку.

У нас — лучший КБР на флотилии. Это из-за старпома, конечно. Андрей Антоныч, что ни говори, специалист, а остальные — говно.

Это он наш КБР и создал. По круницам собрал и тренирует всему вопреки.

Он тренирует — другие пользуются. Происходит это так: какой-то экипаж должен выполнять стрельбы, на него садят команду, оттрепетованную старпомом, они выходят в море, стреляют, потом приходят и все лавры достаются тому экипажу — вот и все. Такая жизнь. Но Андрей Антоныч не против — когда еще в море выйдешь и постреляешь.

У него и КБР такой же — куча ненормальных. Половина уже в запас уволена и давно крабов ловит, а еще некоторые вдоль ларьков шляются и ждут того момента, когда их пригласят на эту ловлю. Но, самое удивительное, стоит Андрей Антонычу только свистнуть, как они все в один миг в море собираются, и торпедами стреляют.

Просто болезнь.

— У них там не подводники, а поленья. Давно не видел в одном месте сразу столько мужественных людей.

Андрей Антоныч только что получил распоряжение насчет своего КБРа и теперь соображает вслух.

— Так! Штурмана нашего со штурманенком жива сюда. Кобзева тоже возьмем, чтоб от реактора не отвыкал. Турбиниста я им найду. Электрики у них, вроде, ничего. РТС? Эти тоже ничего. Инженер имеется. Боцман! Касьяныч!

Боцман Касьяныч как раз из тех ненормальных. Он у нас после увольнения по старости уже два месяца краба ловит.

— Боцман в городке. Сегодня не его смена. Саня! Вот адрес. Он должен сейчас быть на бабе. Пойдешь и снимешь. Торпедист! Семеныч!

Торпедист мичман Козин Александр Семеныч только месяц, как на заслуженном отдыхе и пока еще ждет своего места в крабовую бригаду.

— Семеныч, как я слышал, в котельную устроился. Заглянешь по дороге. Пусть подмениться и на корабль. Пропуска я ему и боцману обеспечу. Трюмный! Черт!

Старшина команды трюмных мичман Тук Кузьма Пантелемоныч, по кличке Черт, маленький, чумазый, с руками до колена, должен, как раз, ходить вокруг ларьков. Этот уволился совсем недавно.

— Черт у ларьков, как пить дать. Найдешь и за шкварник на корабль. Задача ясна?

А чего б она была не ясна. Боцмана я снял с бабы в одно мгновение. По дороге зашел к Семенычу в котельную.

— Эй! — кричу с порога, — Рабочий класс! Труба зовет!

— Когда в море?

— Послезавтра.

— Надолго?

— На трое суток. Родине нужна торпедная стрельба.

— Сделаем, раз надо. Как Андрей Антоныч?

— По утрам звенит!

— Молодец, блядь!

Черта я нашел у ларьков. Тот ходил кругами.

— Черт! Есть возможность отличиться!

— Так эта...

— А вот лирики не надо! Ужимок этих и прыжков — тоже. Что шляемся? Андрей Антоныч сказал же: ждать очереди на крабов!

— Так эта...

— Пьешь, собака?

— Да, эта!.. Кто пьет-то?! Кто пьет? Скажите! Не по-думавши! Чего в море-то? Стрельба что ли?

— Ну!

Через полчаса все были уже на борту. Пропуска им старпом лично сделал. Корабль оставили на меня и на зама, и вышли в море на показательную стрельбу.

ЛВП

ЛВП — это легководолазная подготовка — настолько легкая и настолько водолазная, что, само собой, это любимое дело нашего старпома, после выхода в торпедную атаку, тактики и борьбы за живучесть.

— Индивидуальные дыхательные аппараты у нас полное дерьмо, — любит он повторять, — и потому их устройство надо знать наизусть.

Честно говоря, без дрожи я эту подготовку не вспоминаю. Проходят ее все без разбора, и я начал ее проходить еще во времена своей жуткой молодости.

Был случай в училище, когда я трое суток подряд не спал — то наряд, то еще чего-то — и надо было сдать зачет по этой ерунде для стажировки на подводных лодках. И я пошел.

Прошел «на сухую» (без воды) выход свободным всплытием, сел, ослабил ремешки на роже и в ожидании выхода «на мокрую» (с водой через торпедный аппарат, а потом всплываем в шестиметровой башне) заснул.

Меня разбудили, когда в последней группе выходящих одного не досчитались. Искали по всему подвалу... В наказание, я пошел первым.

В торпедном аппарате уже дополз до передней крышки, улегся, вконец обессиленный, и опять заснул, пока остальные двое — выходим-то через один аппарат, естественно, втроем — подползали.

Заднюю закрыли крышку. А у нас в родном училище не так, как нормальном в учебном центре. (Там торпедные аппараты с окошечками для контроля за испытуемыми, так что там все это чистый цирк с иллюминацией, а в училище крышку закроют и пиндыр — как похоронили.) Я сплю.

По аппарату кувалдой: один удар: «Как чувствуешь себя, водолаз?»

Первым отвечаю я, а я не отвечаю — на сегодня умер. Ужас! Две минуты слушал шестизэтажные маты всех обеспечивающих, которые чуть аппарат из-за меня не продули...

А хождение по грунту, где людей путают? В бассейн опускается сразу несколько водолазов.

А вода такой прозрачности, что не видно собственной вытянутой рукавицы, рыжая какая-то вода.

И вот представьте: ходишь-ходишь по этому ржавому туману, едва подсвеченному сверху, и вдруг перед глазами появляется... морда...

Блядь, идиотом же можно немедленно сделаться: жуткие шары-глаза, два хобота, лысая головка с какими-то длинненькими ушками, развевающимися под водой, раскачивается из стороны в сторону, приближаясь... А это всего лишь твой напарник! Комедия, вашу мать!

А еще как-то раз мои засранцы — это уже на корабле, я на здешнем ЛВП только со своими моряками всегда работаю — меня очень плохо зажгутовали («завязали» для гражданских), и костюм потек с пуза вниз, а потом в двадцати пяти градусный мороз я шел на пароход, матерясь, с видом обоссавшегося пуделя.

Вот, что мне все время вспоминается, если речь заходит о легководолазной подготовке.

— Плохо, что мы в живую, в море не погружаемся! — говорит старпом, и я с ним полностью согласен: конечно, плохо. Если б мы еще и в живую в море погружались, то обосравшихся было бы не сосчитать. У нас же голову пригнули, по жопе дали и ты уже подводник.

К чему я это все?

К тому, что я сейчас вам расскажу, как мы со старпомом молодое пополнение на ЛВП обкатывали.

Кстати, я штаб прекрасно понимаю: они дают нам абсолютно сырых людей, мы их приводим в чувство и все-му обучаем, а потом от нас их потихоньку забирают.

Их же ничему не учили! Народ отсоединяет дрожащими руками манометры, забывая закрыть вентиль баллона. После чего к нему вообще подходят, как к среднеазиатской кобре.

А болезни водолаза? Меня старпом, естественно, сейчас же назначил и медиком и командиром дивизиона живучести, чтоб я хоть чуть-чуть рассказал морякам о том, что это за фигня такая — ИДА-59М (индивидуальный дыхательный аппарат 1959 года рождения, жутко модернизированный), и от чего могут возникнуть болезни водолаза...

И все моряки, когда я им это хозяйство докладывал, слушали меня, как оракула Дельфийского, затаив дыхание, и в глазах у них я видел явное просветление. Им же никто ничего не объяснял, так что они впитывали эту информацию со страшной силой.

И все равно этого мало!

Вот глядите, что у нас недавно случилось!

Тренировка. Пополам с грехом, все прошли разные мелочи, а теперь сдаем самое вкусное: трое водолазов спускаются в бассейн, в котором плавает пустой спасательный плот ПСН-10. Суть задачи: в минимально короткое время забраться всем трем водолазам в плот. Сложность одна: плот легкий, а водолаз очень тяжелый.

Но решение самое простое: на плоту есть веревочная лестница — маленький трапик, и два водолаза встают по бокам этого трапика и держатся за борт плота, в то время как третий подплывает к трапику.

Старший группы, всегда офицер или мичман, стоящий с одного боку (лично мне удобнее держаться левой рукой, а работать правой — это мной изобретенный способ), погружается, ловит калошу третьего, вставляет его ногу на балясину трапика, затем выныривает и — на: «Раз! Два! Три!» — они забрасывают третьего, подсаживая его под жопу.

Потом — то же самое со вторым, только с той лишь разницей, что один уже внутри плота и тянет его за клешню,

ну, а старшему группы стоит только лапки протянуть — и он влетает в ПСН, как ракета. Вот и вся задача.

Всего-то тридцать секунд на всех.

Ну, вот! Уже почти все прошли и тут — один из морячков ушел под воду. Вроде бы, ушел и ушел... Клапанная коробка у него, конечно же, была переключена «на аппарат», так что и беспокоиться не о чем.

Но вот незадача: он ушел, а тут еще на него плотик наплыл и прикрыл сверху. Вроде бы, ну и что? Всплыви, отплыви, оттолкни, делай, что хочешь!

А у него проснулась клаустрофобия. И начал наш морячок всеми четырьмя лапами колотить, аки бешеный миксер.

Аж, вода в бассейне пеной пошла!

Я ору, старпом орет, все орут и бестолково бегают!

Конечно же, бедолагу на берег выдернули и перевели на дыхание в атмосферу, а он — в глубоком нокауте. Однако в штаны он навалил автоматически и по самое «не хочу», и две недели ничего не говорил, мычал, даже заикаться не мог.

Списали. Я его к докторам возил.

Мы потом со старпомом сели и за кружкой водки он мне сказал:

— Не бери в голову. Мы здесь совершенно ни при чем. У него, может, с рождения в голове было полно креветок. Почему-то считается, что подводником может быть любой идиот. Берут космический корабль и суют на него обезьяну. Только ей руки при этом не завязывают, как это ни странно. И может та обезьяна на том корабле почти все нажать. Вот мне бы увидеть того, кто нам обезьян на корабль организует. Я б ему, сука, яйца с привеликим удовольствием оборвал. А потом разрезал бы их на мелкие дольки, залил бы сметанкой жирненькой, жареным лучком, золотистым, заправил, хмели-сунели сверху, на медленном огоньке потушил бы, потушил бы... а затем со слюнями съел. Отличный закусон! И еще я оборвал бы яйца всем его детям нежным и детям их детей, в том числе и зародышам, эмбрионам! Суки!

После чего мы с ним еще выпили и заели все это какой-то дрянью.

ОСЦИЛЛОГРАФ

— Где этот чертов старпом?

Давно у нас никто не появлялся. Просто тащить с корабля больше нечего. Мы со старпомом сидим на пирсе и греемся. Солнце, тепло. Только спиной к ящику привалился и сразу размокаешь. Интересно, кто это там старпомом интересуется? Открываем глаза шелками и видим: прямо перед верхним вахтенным, лицом в переговорное устройство «каштан», а к нам жопой, стоит какой-то хмырь. Андрей Антоныч свои глаза пока еще не открывал, так что есть еще время изучить обстановку. Только проворачивание закончили и теперь с толком используем время перекура. Антоныч все еще млеет на солнце, а этот детеныш козы опять лезет к «каштану»:

— Старпому срочно выйти наверх!

Ну, народ! Сейчас он тебе выйдет. Верхним вахтенным стоит Хабибулин. Этот уже делает мне глазами всякие знаки. Но ему все равно достанется — почему пускает кого попало к «каштану»? Андрей Антоныч очнулся.

— А?.. от... твою мать...

И потянулся.

— Где же ваш старпом?

Хабибулин глазами так моргает, будто бабочку в пищеводе продавливают. Из-за него я пропустил тот момент, когда Андрей Антоныч вырос у хмыря за спиной.

— Ну?

Тот обернулся и уткнулся ему в живот, потом медленно поднял глаза, в которых сам собой нарастал дикий ужас, и остановился на лице старпома. По лицу Андрей Антоныча можно до обеда бродить.

— Ты кто? — спросил его старпом.

— Я?

— Ну, не я же!

У того орла затмение.

— Так и будем слюну глотать?

— А вы старпом?

— А что, не видно? Документы где?

— Какие документы?

— Зеленые! Ваши документы извольте представить!

— Вот!

Старпом читает. Прочитал.

— Ну? И чего с утра орем в «каштан»? Что? Некуда больше орать?

— Так... предписание... Я прибыл за осциллографом...

— За каким осциллографом?

— То есть?

— У нас пока еще сохраняется целых два осциллографа времен первых ядерных взрывов в Семипалатинске. За каким из них вы сообразовали прибыть? И в какое подразделение? БЧ-5? РТС? БЧ-4? И какой номер у прибора?

— Мне сказали, что старпом все знает.

— Кто «сказали»? Где «сказали»?

— В штабе! У начальника штаба! Есть бумага? Вот!

Старпом посмотрел в его бумагу и вызвал подвахтенного с автоматом.

— Этого арестовать и на КДП распать.

— Как?

— Молча! Руки вверх!

— Как это?

— Так! Что это за бумага? Кто ее писал? Начальник штаба? Наш или чей? Что у него с русским языком? Еще раз: пропуск, допуск, паспорт, телеграмму ЗАС?

— Какккк... (ык)... ую телеграмму?

— Золотую! Засекреченную! ЗАС! Как это смотрится: человек без ничего, с какой-то бумажкой из штабного гальюна, является на борт и просит, чтоб вы думали? Осциллограф?! А ускоритель элементарных частиц вам в газетку не завернуть? А? Вы тут бдительность, что ли, нашу собрались проверять, оскуднев на разум? Так передайте тем, кто вас послал, что мы тут бдим! По самое емое! Днями! И ночами! Стоим! Окостенев в желаниях! Чую, пахнет особым отделом! И их дебиловатыми проверками посторонней готовности к подвигу!

— Дежурный! (А это уже мне)

— Есть!

— Связаться со штабом дивизии! Все выяснить и доложить!

Через пять минут все выяснили: этого типа, уродливо-го на вид, действительно прислали за осциллографом.

— Эх, кладь на покладь! — плюнул старпом, закрывая глаза и затихая на солнышке. — Поебень какая-то, не могу! Саня! Дай ему осциллограф!

НАШИ РОДЫ

— У штурманенка жена рождает!!!

— Как?!!

— Каком кверху!

Это нам штурман с дежурства на корабль позвонил. Я сейчас же оповестил старпома. Дело в том, что до этого штурманенок отпрашивался привезти жену в поселок. А потом он ушел в море. Его старпом послал на неделю. Кто же знал, что он беременную жену везет.

— Где я ей роддом возьму? — это старпом не у меня спрашивает, это у зама.

Зам, как на грех, оказался рядом, вот первый вопрос по родам и задан ему.

А, я считаю, что и правильно. А что? Ведь если подумать трезво, то зачем нам зам?

— Медика надо!

— А кто у нас на сегодня медик? Саня! О! Я же тебя назначил медиком!

— Ме... ня?

— А кого?

Рот наоборот! Дело принимает глухой оборот. Не понимаю, как это зама сие миновало.

— Андрей Антоныч!

— Ну?

— Я же химик!

— Ну?

— Я.. не могу...

— А я могу?

— Но...

У нас в поселке есть, конечно, госпиталь, не без того, но... было даже гинекологическое кресло... кажется...

— В город надо, Андрей Антоныч...

— Ты слышал — рожает!

— Слышал...

— Вот и иди...

— Я?

— Бам-бар-би-я!!!

В общем, через пять минут мы все были там. Ну, и баб набежало. Рожать-то они, конечно, все, вроде, рожали, но вот помочь чем-то, например, не криком...

Старпом их выгнал и сказал мне: «Давай!»

И я дал. Я вспомнил, что нужен кипяток. Хрен его знает зачем, но нужен.

— Нужен кипяток!

— Молодец, Саня! — сказал старпом, и у меня через три секунды было море кипятка.

Что было потом, я смутно помню. Кажется, мы со старпомом положили ее на чистую простынь, и заставили глубоко дышать и тужится. Потом я вспомнил, что воды же из нее должны пойти и соорудил что-то вроде лотка... потом... как поперло... вот... хорошо, что зам откуда-то в этот момент стаю медиков привел...

— Ну, Саня, — сказал мне потом Андрей Антоныч, поднося стакан водки. — Ты сегодня и дал.

А я и пить не мог. Губы дрожали.

Да, забыл сказать, родили мы... девочку...

ОТЕЦ

— Андрей Антоныч, спасибо!

Это штурманенок. Достали его, наконец, с моря и теперь никто его, кроме, как «отец», не называет.

— Насчет «спасибо» — это к Сане. В основном он страдал. А теперь, Леонид Аркадьич, объясните, Христа ради, как это вас угораздило беременного человека на север привезти? Перебои с водой, электричеством, в квартире все замерзает, если только три электрообогревателя тебе в рожу не дуют! Дома брошены! Стекла выбиты! Ветер свищет! Из подвалов гниль и пар! Заносы! По три дня на Большую Землю не выбраться! Роддома нет (как выяснилось)! Даже гинекологическое кресло и то сломали. Пытались зубы, наверное, на нем лечь!!! А?!! Ну?!!

— Она маленькая такая, Андрей Антоныч!

— Хобот на сторону! Детский сад! Саня! Я с ними тронусь когда-нибудь! Чувствами и разумом! Идите! Неделю даю, чтоб увез жену и дочь в Питер!!!

Потом Андрей Антоныча атаквали экипажные бабы. Во главе с его собственной женой и двумя дочерьми.

Начала жена. Она у старпома примерно одного с ним роста, и девки от нее не отстают. Казачка. Разговаривает она с нашим командованием руки в боки.

— Андрей! Не поняла! Куда это ты собрался дитё отправлять по морозу!

— Глафира! Уймись!

Старпом, когда не в духе, жену называет разными редкими русскими именами.

— Какая я тебе Глафира?!!

— Значит, Марфа!!! Уймись, говорю! Дело решенное! Пусть едет!

— У нас, между прочим, женсовет и я во главе! И мы решили: никуда она не поедет! А за неделю отпуска отцу ребенка земное вам спасибо! А детеныша сами воспитаем. Не извольте беспокоиться! И вообще! Занимались бы вы своими делами!!! И не лезли бы в наши!!! Старший помощник несуществующего командира!!!

— Какой, к черту, женсовет! Какой женсовет, я спрашиваю! Все сдохло! Давно! Где зам? Что это за хиромантия ползком на столе?!!

Зам был призван, и рот ему тут же заткнули. На арену выступили дочери старпома. Причем, единым фронтом.

— Папа, ты чего? Совсем с ума сошел?

Дочерей старпом не выдержал.

— А вы-то?!! Евдокеи Савишны!!! Вы-то куда лезете?!!

— Думали мы, что ты умный человек, папа, оказалось — нет!

Потом они пообещали ему всеобщий бабий бунт и еще они ему пообещали, что прикроют его крабовое производство, после чего старпом сдался и отменил отправку. А бабы тут же бросились старпома жалеть — первыми жена и дочери: «Палочка наш бедненький! Смотри, как разнервничался! Совсем себя не бережет!»

После этого старпом от них удрал на корабль.

— Саня! Не могу! Бабы! Одолели! Ты не знаешь почему от настоящих флотских офицеров, как правило, рождаются только бабы с гнусным мужским характером? Это же ужас какой-то! Настоящий мрак! Господи! Только бы их на службу не призывали! Не дай мне Боже дожить до того момента, когда они флотом станут заправлять! Сдохнуть бы гораздо раньше! Вот!

Потом мы с ним выпили.

За рождение ребенка и вообще...

ПОДХОД

Утром на подъеме флага.

— Андрей Антоныч! Через пять минут подъем флага!

— Не «Андрей Антоныч», а «товарищ капитан второго ранга»!

— Виноват! Товарищи капитан второго ранга!

— То-то же!

Пес его знает, почему я, сто раз поднимая флаг, на сто первый обязательно скажу не так.

Через пять минут.

— Андрей Антоныч! Время вышло!

— Ох, (вздых) ёть в комьть! (Опять я оговорился, от чего старпом страдает) Так! Ладно! Флаг поднять!

— Ф-ла-г и гю-юс... поднять!... Товарищ капитан второго ранга! Прошу разрешения «Вольно!»

— Вольно!

— Во-ль-на-а!

Чего сомной сегодня? Не иначе как в Североморск ехать.

— Саня, слазь с рубки!

Ну, так и есть. Сейчас меня куда-нибудь зафигача!

— Поедешь со мной в Североморск.

Так я и думал.

— Сейчас подменишься, — а то от тебя сегодня на корабле толку мало, путаешь Бабеля с Бебелем, — и меня сопроводишь. Изобразишь в одном месте помощника командира.

Так и поступили. Я подменился, и поехали мы со старпомом бурную деятельность изображать. В середине дня разбрелись по разным конторам, а на ужин — в ресторане встретились — у нас до катера еще целых три часа было.

Я со старпомом если выезжаю, то вечером мы с ним обязательно в этом ресторане оказываемся. Сценарий всегда такой: старпом появляется первым, заказывает нам по гигантской отбивной с ведром капустного салата, и мы все это сметаем под бутылку водки: мне — сто пятьдесят, старпому — остальное, для чего мне наливается в фужер для шампанского, а старпому притаскивают бадью для коктейля.

А все из-за того, что старпом по традиции пьет только один раз.

— Ну!.. — Андрей Антоныч только что разлил и сейчас скажет тост. Он у него всегда один и тот же. Вот он:

— Вкусна, Саня, только первая рюмка. Остальное — тренировка. Нам тренироваться не надо — мы, люди тренированные.

После этого мы, обычно, выпиваем и принимаемся за еду, потом появляется некто из публики и начинает приставать к старпому — я не знаю, почему это всегда происходит, — затем старпом выходит на воздух вместе с этим орлом, где и бьет ему морду.

Только я про все это подумал, как над ухом раздалось

— Ну, что, морфлот, просрал свой флот, теперь водку кушаешь?

Только мы подняли глаза — стоит — гражданское лицо.

Как он потом оказался зажатый в кулаке у старпома, ума не приложу. Я даже моргнуть не успел — пальцы Андрей Антоныча обвили его, как кольца удава. Потом он его приподнял. Мне стало нехорошо. Если старпом ему сейчас треснет по башке, то я эту голову долго буду на кухне искать.

Но старпом никого не треснул. Он сказал речь.

— Значит, так, зеленый! Синонимами слова «просрал» являются слова «промухал», «проворонил», «проиграл»,

«проспал». Ни одно из них ко мне не подходит. Прошу это иметь в виду.

Бедняга сделал попытку поежиться. От старпома это не укрылось, и он ослабил хватку — человек поежился.

Старпом продолжил:

— Если же разговор у нас идет о гибельном положении военно-морского флота, и о плачевном состоянии нашей боеготовности, — тот закивал глазами, — то все претензии к Верховному Главнокомандующему. Мне же позволительно предъявлять счет только на то, за что я отвечаю лично. Я отвечаю лично за боеготовность корабля. Согласны? — отчаянная попытка выкрикнуть «Да!», — Уже здорово!

Старпом разжал руку, человек пал в кресло. Понемногу он пришел в себя. Потом он сказал:

— Прошу прощения!

-- А вот это хорошо! — заметил старпом, — Хорошо, что у населения сохранилось уважение к людям нашей профессии. Пусть даже оно зародышно и действует рефлекторно! Пусть! Все равно хорошо! Это не может не радовать! Это вселяет надежды! Ничего! Не все еще потеряно!

Бедолага сидел, боясь пошевелиться. Наконец, он спросил:

— Разрешите идти?

— Идите!

— Вот, Саня! — сказал мне старпом после того, как он исчез, — К любому же можно найти единственно верный подход!

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ

Мы уже полгода краба ловим. Зима теплая, залив не замерзает. Деньги нам начали, наконец, выдавать, но краболовлю это не прекратило.

А почему? А потому, что старпом решил, что если он успеваает и с кораблем и с крабами, то какого черта!

И потом, мы же не всего краба вылавливаем, мы маленьких отпускаем. Старпом ведет жесткую селекцию, заботится о приросте, приплоде, делает расчеты, рисует карты крабовых полей, складывает их в сейф, записывает в тетрадку свои мысли, которые тоже хранит, а зам бегаает вокруг и собирает сплетни.

При этом он все беспокоится, что все всплывет, отчего уж очень сильно переживает.

— Сергеич! Ну, что опять?

Зам мнетя.

— Что там еще стряслось?

— Да, ничего не стряслось.

— Ну, ты жалом-то не води. Я ж тебя вперед вижу.

— Андрей Антоныч, как вы смотрите на то, чтоб от наших доходов, с начальством поделиться?

— Так! Не успели одних по холодку отправить, как уже другие мнутя! Ты заложил?

— Андрей Антоныч...

— Ты! А чего стесняешься? Мы же не очень-то и скрывались. Просто они нас взять не могут, потому и давят на

слабое. Ты у нас — слабое, Сергеич. От тебя бы избавиться — самое время, но вот ведь беда, привык я к тебе. Значит, они тебе сказали, чтоб я делился. Но ты же наши доходы знаешь, у нас на паразитов денег нет. Паразит, Сергеич, плодится так, что потом хозяин этого паразита помирает. Так что передай им мои искренние соболезнования, они по-прежнему будут лишены крабового мяса.

— Андрей Антоныч...

— А чем они меня возьмут? Из партии меня давно выкинули, а потом и партии не стало. В запас меня они только через два года смогут уволить, а я за это время в них совершенно нуждаться перестану. Это они во мне будут нуждаться, потому что паразиты, яйцеглист, им носитель нужен. А я им носителем никогда не буду. Я теперь свободен. Это я раньше страдал, что флот гниет, а теперь я не страдаю. Я теперь философствую — гниет, значит должен гнить.

Я понял, Сергеич, главное. Государство мне не друг. Оно мне враг. У меня с ним война. Небольшая, но война. И, знаешь, после того, как я это понял, все стало на свои места. Будто с глаз пелена пала.

Конечно! Еще я буду переживать. Вскокивать. Ругаться и ночами бродить. Но, в сущности, мне все ясно. У нас с твоими друзьями задачи разные. Они берут не свое, а я — свое.

— Краба, например.

— Краба! Правильно. Только я его ращу. Я же по уму все делаю. Вон у меня сколько записей по нему имеется. А они придут, и все вместе с камнями выгребут. Им же все равно. У них краб завтра кончится. А у меня его больше становится. И я на свои места чужих не пущу. У меня же бригада. И каждый в ней знает свой процент — вот что ценно. Они знают, за что страдают. А ты мне предлагаешь работать на дядю и за спасибо. Я и так на лодках работаю за спасибо. У меня давно крабы — это дело, а лодки — это хобби. Люблю я лодки, вот и не бросаю их к едрене матери.

Мы, Сергеич, в этом месяце еще одну шаланду купим. Я тут присмотрел одно полузатопленное дерьмо, так мы

его поднимем, отремонтируем и за работу. У меня скоро половина поселка работать будет. И у меня никто не пьет, несмотря на то, что твои начальнички сюда паленную водку везут и в ларьках своих вонючих подводничкам ее втюхивают.

Что? Скажешь не так? Так, Сергеич, так!

И разговор этот пошлый, мы с тобой больше затевать не будем. Ты определись, Сергеич! С кем ты? Это же важно. Или ты бегаешь, пуделем и хозяина радостным лаем встречаешь, или ты ходишь с высоко поднятой головой. Понял? А теперь давай чайку ебанем. Самое, между прочим время, время.

И они ебанули.

Чайку.

ГЛАВКОМ

Я же говорил — людей не хватает. Вахты, вахты, вахты.

Как только удастся немного личного состава где-то наскрести, так старпом тут же устраивает учения, борьбу за живучесть или, на худой конец, занятия по специальности.

А еще он любит глаза матросу завязать, и чтоб он на ощупь все крутом узнавал, после чего он обычно орет:

— Что ж ты все подряд хватаешь!

И еще:

— Без паники! Без паники я сказал! Так! Медленно! Медленно двигайся! И узнавай! Узнавай, я сказал!

После чего матрос, конечно же, все узнает.

Во время этих занятий старпом краснеет, потеет и его лучше не трогать.

А тут главком приехал. Все знали, что он в базу прика-тит, но, как всегда, нас это коснулось в последний момент.

— Немедленно выделить АСС на пятый пирс для встре-чи главкома!

АСС — это «аварийно-спасательная служба» — офи-цер и шесть матросов — в мирное время она трапы пода-ет.

Это дежурный по дивизии позвонил. А я стою по ко-раблю и выделять надо мне.

А как я чего-нибудь выделяю, если старпом проводит учение?

— Андрей Антоныч!

— Да!

— Прошу разрешения...

— Да!

— Дежурный по дивизии требует группу АСС послать на пятый пирс для встречи главкома.

— А мы ему что? Дойная корова? Где я ему людей возьму?

— Тык...

— У меня идут занятия по специальности, перерастающие в общекорабельное учение! Сегодня — день БП, для неподготовленных, БП — это «бэ-пэ» — боевая подготовка. Что не понятно?

— Да, все понятно...

Через три минуты старпом уже держал трубку у уха и звонил дежурному. Еще через минуту, он сказал ему семьдесят пять слов, из которых только два были не «говно». Потом он воткнул трубку на место, бросил мне: «Продолжайте учебу! Я сейчас разберусь!» — и убыл с корабля.

То, что случилось после, ни в какие ворота не влезает. Командующий флотилии так потом старпому и сказал, потому что вместо группы АСС встречать главкома пришел только один человек — наш старпом, одетый в старую матросскую пилотку и рваный ватник.

И он его встретил.

А когда главком спросил: «Кто это?» — то красный, как «Синьор Помидор», командующий сквозь очень плотно сжатые зубы доложил, что трап сегодня ему в одиночку подавал старпом «К-193», капитан второго ранга Перверзиев, Андрей, видите ли, Антоныч.

«А что, матросов не нашлось?» — спросил главком, на что командующий что-то сказал ему тихо и почти на ухо, а главком на это откликнулся: «Что вы говорите?» — после чего он устоял на старпому и простоял бы так целую вечность, если б его, обомлевшего, под руки не увели.

А старпом сказал ему вслед слово «блядь!», но к главкому оно, видимо, не относилось.

Потом он плюнул и ушел на корабль.

А вечером его вызывал командующий.

А потом прискакал взвинченный зам.

— Андрей Антоныч! Что тут опять стряслось?!!

— Сергеич! Ты сядь!

— Андрей Антоныч! Вы не понимаете, что творите!!!

Это саботаж!!! Издевательство!!! Наплевательское отношение!!!

Старпом достал из кармана яблоко, обтер о рукав, откусил и вторую половину протянул заму. Тот машинально взял и откусил. Потом весь разговор у них происходил так: чавкающий старпом отвечал чавкающему заму.

Понять их было трудно, но ясно было, что старпом кается.

В конце он сказал:

— Хуй с ним!

На том и закончили.

ЕЩЕ ПИСЬМА

Мне пишут письма.

Письма бывают разные.

Например:

«Александр Михайлович! Меня зовут Андрей. На погранзаставе был такой случай. Вместо мяса привезли живого бычка, и надо было его завалить. Никто никогда это не делал, потому что раньше мясо поступало уже в готовом виде. Кого назначить? Конечно, молодого лейтенанта. Тот построил народ и методом опроса выяснил организацию: надо бычка в лоб кувалдой ударить. Нашли кувалду и добровольца. И только собрались уже бить, как у кого-то из глубины строя возникают сомнения, мол, надо бы бычка сперва кастрировать, а то мясо будет не вкусное. Решили действовать одновременно. То есть, один бьет бычка в лоб, а другой в тот момент ему яйца отхватывает. И на яйца молодца тоже нашли. Сказано-сделано: все заняли свои места, ну, и наблюдателей и советчиков вокруг куча. По команде лейтенанта тот, что с кувалдой размахивается и бьет, только у него в момент удара сама железная кувалда с палки слетела и бычка между рогов он ударил одной палкой, а тот, что между копыт примостился, тот свое дело выполнил — яйца от-

хватил бедняге по самое не хочу. Так вот коррида по сравнению с тем, что было — это детские игры с песочек. Бык одел на рога все, что подвернулось...»

«Санька, это я. Тут мне прислали одну историю, про-сто выдержку из письма. Почитай, тебе понравится.

История абсолютно реальная, произошла с моим хорошим приятелем. Идет он как-то с работы и осматривает ларьки-прилавки у станции метро «Тимирязевская», где всякую съедобную всячину продают. Смотрит он, значит, на один прилавок, где торгуют копченостями: рульки, ребра, колбаски, мясо по-татарски и т.д. И тут он видит в глубине небольшие кусочки филея, а рядом с ними табличку «СУСЛЯТИНА Г К». Надо сказать, что в отношении еды он весьма продвинутый крендель, едал и собачатину, и лягушатину, и крокодилятину. Но вот суслятины, да еще горячего копчения, пробовать не приходилось. Заело его. Подходит он к прилавку (за ним стоит здоровая бабища лет сорока пяти) и говорит этак непринужденно: «Дайте мне суслятинки, пожалуйста, грамм 300-400, на пробу». В ответ бабища поднимает на нашего гурмана тяжелый взгляд, рожка ее быстро наливается пунцовым цветом и она мрачно цедит сквозь зубы: «СУСЛЯТИНА Г. К. — это Я...»

«Александр, это Елисейкин Игорь. Вот тебе еще история: Наверное, многие видели рекламу сотового телефона, на который можно записать любой звук в качестве звонка? Тетка по телевизору записала крик придавленной фермером индейки. Один мой знакомый додумался до совершенно другого. Сидела компания ребят и пила пиво. Один из этой компании недавно в Москве приобрел сотовый телефон с вышеуказанной функцией. И необходимо отметить, что сильно он этим телефоном выпендривался, сильнее некуда.

Далее, пива было выпито не мало и выпендрястый пошел в туалет, а телефон свой крутой оставил в комнате. Как по команде один из сообразительных ребят хватает

этот телефон и шустро щелкает его кнопками, потом, (пардон) подносит его к своему заду и издает протяжный и громкий СТОН со всеми музыкальными переливами и знаками препинания. Щелкает по кнопкам трубы и кладет ее на место. Все молчат с очень широко открытыми глазами и ртами. Через 2 секунды все выбегают на кухню от растущего аромата звукозаписи душевной телефонной мелодии. Далее аромат проветрили, допили пиво и разошлись. Думаете, все?? НЕТ, ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО НАЧАЛО!!!!!!

На следующий день тот парень с крутым телефоном вечером буквально влетает в квартиру, где было пивовыпивание и с порога орет:

— Что за херню вы сотворили?

В общем, разобрались, и он поведал нам историю! (От его лица рассказ):

Еду я сегодня утром в маршрутке, после вчерашнего не выспался и кемарю. Вдруг сквозь дремоту слышу странный звук, приоткрываю глаза: напротив меня сидит разодетая девица и тарашится на меня, я ей подмигнул и хотел опять закемарить и тут снова слышу звук, который с каким-либо другим перепутать сложно. И до меня медленно доходит, что звук идет из меня, из куртки. Первой мыслью было все, крышу сорвало, уже чудится, что куртка пердит, как здоровый мужик, нажравшийся бобовых, после чего я судорожно роюсь в куртке и вытаскиваю отчаянно пукающий телефон. В это время не выдерживает водитель, останавливает машину и громким голосом:

— Или дристало выходит или пусть заткнет свою жопу пальцем.

Весь народ начинает ржать, именно ржать, и глядеть на меня, а я, отвечая на звонок, успеваю крикнуть, что перезвоню позже, судорожно выключаю мобильник и говорю водителю:

— Он больше не будет!!

На что водитель, мол, уйми своего засранца, а то дышать нечем, глаза режет. Данное замечание вызывает такой взрыв хохота, что я не выдерживаю и линяю из маршрутки»

«Саша. Это Игорь Бедеров. Может быть тебе пригодиться? Дело было на Тихом океане. Корабль. На корабле едет «большой штаб». Вахтенный офицер из совсем зеленых лейтенантиков. Начальство салабона задрочило по «самое не хочу». Срочно большезвездным дядям понадобился капитан первого ранга Белобородько. Вот бедолага везде бегаёт, с ног сбился — ищет Белобородьку этого.

А тут на мостик по трапу чинно выплывает какой-то контр-адмирал. Лейтенантик, вместо того, чтобы подать по его прибыггию команду «смирно», как у нас в сухокопытных войсках обычно делалось, полез к адмиралу с очень тонким вопросом: «Товарищ контр-адмирал, вы случайно не капитан первого ранга Белобородько»

Адмирал оказался философом. Он снял очки в золоченной оправе, внимательно посмотрел на запаленного лейтенанта и произнес: «Хуй его знает, молодой человек. В нашем дурдоме возможно все».

Я, между прочим, с этим адмиралом согласен».

«Уважаемый Александр!..

Недавно проездом был друг из Владивостока, который просил передать свое уважение Вам. Он познакомился со своей женой, когда лежал во флотском госпитале. Взял с собой Вашу книгу, которую предложил почитать медсестре. Ей понравилось. Теперь они муж и жена. Сентиментально, но правда.

С флотским приветом, Олег Рыков»

«Это опять Елисейкин: Саня! Внимай! Только три истории!

Первая: Питер. 92-й год. Вечереет. Прилично датые мой друган Серега и я спотыкаемся домой. Он пьяней меня раза в два, так что, когда дует ветер, его как парус сдувает в ветреном направлении, а я, как более устойчивый, пытаюсь рулить, в итоге вся конструкция, слегка мыча, дрейфует на пару шагов согласно теории сложения векторов. Бредем мимо песочницы. Видим — крохот-

ная девчушка копается в песочке, и не каким-нибудь дурацким совочком, а здоровенным красным искусственным членом со всеми причиндалами. Преодолев обалдение, подгребаем к дитю и Серый, отдавая крохотульку перегаром, выдает:

— Где взяла?

— В Шекш Шопе, — шепелявит деточка, и мы с трудом прослеживаем направление вытянутой руки ребенка. Ага, так и есть, «Шекш Шоп»! Пять минут спустя, по дороге уронив на бок урну, вваливаемся в заведение. Я направляю Серегу на трех барышень за прилавком с целью поинтересоваться, в чем дело, собственно, и через секунд 30 он выдает следующий сюрр:

— В-вот в-вы тут все ссстоите... ровно, а там (яроственный тычок пальцем в дверь) д-девочка членом землю роет!!!

У первой барышни глаза лезут на лоб, вторая, нервно хихикая, замечает, что «Ее ж, такую, в цирк надо», и только на лице третьей барышни отражается подобие мыслительного процесса, и в следующей секунду она уже злобно орет в подсобку:

— Иваныч, ты опять хуи неликвидные в мусорку вынес?!!

Вторая: В Питере это было, естественно. Лет шесть назад. Одна церквушка надыбала кучу валюты на реставрацию с условием, что подрядчик будет очень заграничный, видимо, чтоб и работу в срок закончили, и деньги не сперли. Ваш покорный слуга в это время имел какое-то туманное отношение к комитету по реставрации нежилых фондов. И вот с утра пораньше ловит меня начальник и грит, мол, что нарисовалась солидная немецко-шведская фирма, готова на все за предложенные бабки, и прям сейчас я должен представителя ихнего в церквушку сопроводить и встретить его там с батюшкой (который из языков знает лишь старорусский), чтоб они чего надо обсудили под моим чутким наблюдением.

Тут сразу возникает Отто, германошвед, познакомился, едем. У Отто неплохой русский с легким оккупа-

ционным акцентом, хорошо, думаю, переводить не надо будет.

Приехали, нашли батюшку в рясе неглаженной, Отто шути всяки подоставал, стал бегать и замерять чего-то, пока мы с батюшкой беседой светской баловались. Прибегаёт, запыхавшись, и делится с нами информацией инженерной типа что там мы «штуккотуррку» налепим, а вот там еще какую хреновину заменим, а потом такое говорит:

— А для корошший сфетофой эффект фсе лампы будтт хуевый.

И смотрит на нас так приветливо. Я мысленно перекрестился и тоже улыбаюсь, а вот батюшка нехорошо как-то глазиком моргнул, крикнул сдавлено, ткнул в меня пальцем и шипит:

— Ты скажи ему, что деньги у нас есть, пусть хорошие лампы ставит.

Отто сразу:

— Та-га, все путет корошший, и оччен хуевый, тут мы хуевый красный лампы поставим, тут хуевый синий, и потом фсе стекло сдесь заменим на хуевый стекло, а тут (на главный витраж с изображением Христа показыва-ет) путет дфойной хуевый стекло, самый торогой !

При этих словах батюшка сам сделался цвета «дфойной хуевый», бороденка его отъехала не в ту сторону и там затопорщилась весенним ежиком и, со странненьким таким горловым звуком, он осел у алтаря. Я схватил ничего не понимающего Отто и поволок к выходу, по дороге пытаюсь объяснить, что всякой шутке есть предел — ежкин кот! — и в церкви матом грех ругаться, и тут он вырвался, с мрачнейшей рожей извлек из недр своего немецкого пальто маленький разговорник, судорожно его полистал, увидев там что-то очень страшное и понесся, сшибая свечи, обратно к пожухшему батюшке, истошно крича:

— Не хуевый! Не хуевый! Найн! Найн! Не хуевый! МАТОВЫЙ! МАТОВЫЙ!!!

Третья: История эта случилась в те давно забытые времена, когда видеомэгафоны были большой редкостью и мои друзья собрались на квартире одного из них в отдаленном районе посмотреть видео. Уже было далеко полночь, когда у хозяина квартиры раздался телефонный звонок. Звонил еще один общий приятель, у которого возникла серьезная проблема. Все дело в том, что девушка, за коей этот наш приятель тщетно ухаживал уже полгода, сегодня согласилась, так сказать, разделить с ним чудо плотской любви. Проблема же заключалась в том, что это чудо делить было решительно негде, но тут приятель вспомнил про хозяина квартиры, в которой мы устроили кинозал, (у того родители были в отъезде) и приятель умолял его временно предоставить жилплощадь для столь важного свидания. Хозяин квартиры объясняет, что дома у него уже находится группа из шести мужиков и их детей практически некуда, так как метро закрыто, на тачку у них денег нет, а на улице зима, однако, особо не погуляешь. Но потом, под настойчивые уговоры, порешили, все-таки, помочь счастьем влюбленных и всей группе молодых людей спрятаться в квартире для того, чтобы переждать акт любви. Приятель обещал, что все займет не более получаса. Рассудив, что полчаса — не время, народ стал искать подходящие убежища. Спрятались кто где: в шкафах, под диванами, один даже для того, чтобы было не очень жарко, разделся и полез на антресоли. Ключ, по предварительной договоренности, положили снаружи под коврик, в полной темноте разместились по местам и стали ждать. Минут через пятнадцать в замке заелозил ключ, дверь открылась, и, с морозца, вошла наша «сладкая парочка». Все затихли в ожидании. Что было дальше между приятелем и его красавицей — оставляю на ваше воображение, но только через минут двадцать процесс был удачно завершён к всеобщему удовлетворению не только тех, кто ему предавался, но и тех, кто страдал во имя любви в пыльных шкафах и чуланах. Приятелю уже не терпелось покинуть квартиру, которая, как он знал, нашпигована людьми, поэтому он быстро оделся и даже открыл входную дверь на лестницу. Девушка одевалась не так швыг-

ко, она как раз завязывала шнурки в тот момент, когда сквозняк с шумом захлопнул входную дверь... Дальнейшее с трудом поддается описанию, так как решив, что хлопок дверью означает, что влюбленные уже испарились, из всех щелей начали вылезать мужики, истосковавшиеся по общению, громко делясь впечатлениями от только что произошедшего. При этом, фразы типа: «А ты слышал, как она стонала на пятой минуте?!» были, пожалуй, самыми аккуратными. Плюс к этому везде стали включать свет, шуметь, ходить, и ухать, разминая затекшее. Немая сцена была в коридоре, когда туда вышла вся эта колда и увидела девушку, тщательно хватяющую воздух ртом, и нашего приятеля цвета старых зеленых обоев. Следующее, что случилось — на девушку в одних трусах с антресолей вывалился прятавшийся там парень.

Дальше был только КРИК!!!»

«Саня! Тут снимали фильм про нашу «Акулу» на день-ги «Дискавери». Должны были запечатлеть пуск ракеты во льдах. То есть, красиво ломаем лед, всплываем, и из надводного — старт.

А там же, на лодке, ничего не происходит, на самом-то деле, если она просто так, исправно, под водой ходит. Снимать, в общем-то, нечего: вахта-сон-жрачка. Так что, если и случается что, пожарчик там какой или еще чего, киношники бегом туда, а им навстречу особысты — загораживают, не положено.

Давно же не плавали, разучились, да и матчасть старая, еле ворочается.

Так что, как тревога, эти с камерой туда, а особысты им всячески препятствуют. Так все и происходило.

Для съемок ракетного старта всплыли в полынье, высадили на льдину съемочную группу с двумя мичманами и тут же рядом белые медведи просто так шляются.

И вот — старт. Крышка шахты открылась, но не до конца, конечно, заклинило, а двигатели у ракеты уже запустились. Естественно, в шахте пожар, и что мы делаем,

раз такое дело? Мы погружаемся, чтоб водой ту шахту затопить.

Так вот, когда начали погружаться, а съемочная группа-то не в курсе, что там происходит, знай себе снимает, — мичмана вдруг как увидели, что лодка исчезает, а они с медведями остаются, так и заорали: «Еб твою мать! А как же мы?!» — говорят, их рожи в тот момент — это были лучшие кадры фильма».

«Александр Михайлович, все, что Вы пишете, это как про меня. Мне командир часто говорил: «Вы не офицер, вы — пиз-з-з-да в иллюминаторе!».

«Это Алина. Вот что мой папа мне прислал: «Тяжесть службы как раз и порождает языковую культуру. Помниться в Антарктиде я пытался записать звуковое письмо на Родину. С ужасом обнаружил, что на фоне моих описаний прелестей местной жизни на пленку записалась какая-то дикая матерщина — это были голоса полярников, которые входили, выходили с «улицы» и выражали свои чувства от общения с природой, лестницей, снегом, тем же солнцем или недотепой партнером».

«... А между тем морские просторы родной Эстонии сейчас находится в великой опасности. Защищать их некому. Два «хрущевских мотоцикла» — это все, что есть на вооружении у нашей теперечной эстонской Отчизны, столкнулись друг с другом, выходя на учения.

Они с норвежцами на совместные маневры, мол, мы с вами теперь НАТО, собрались. Вышли за ворота и тут тебе — БАЦ!

Норвеги от такого опешили и шарахнулись от них в разные стороны «ужо дюжо», потом они рванули к себе домой, сообщив, что они придут на учения в «следующий раз».

Удачи!

С вами был Женя Воробьев».

А есть и такие:

«...18 апреля 76-го года я сидел в центральном на вахтенном журнале, когда «Вольск» въехал нам в борт в районе турбинного отсека. Нам повезло, прочный корпус остался цел, распороли ЦГБ, да кабели размагнитки в кучу собрали, удар пришелся под углом примерно 40 градусов, под прямым сухогруз нас бы просто разрубил. Шестак — земля ему пухом — (тогда еще капитан 3 ранга — это был один из первых его выходов в качестве командира К-116) был не виноват. Видимость нулевая, снеговые заряды. Впереди шел тральщик, обеспечивал нас. Мы на локаторе из-за него не видели «Вольск», а он — нас. Сухогруз обогнул тральца, дистанция уже была близка к 4-м кабельтовым — мертвая зона для локатора, увидел нас и дал реверс, но было поздно.

Всех собак свешали на капитана «Вольска» (ему не давали добро на вход в Авачу, так он самовольно, несмотря на сигналы постов, поперся, на внешнем рейде болтаться лишних полдня не захотел), и на командира тральщика — дескать, не предпринял все необходимые меры вплоть до тарана.

А шли мы на ракетную стрельбу на приз Главкома. Ну, стрельбу, естественно, задробили. Пошли мы в Советский выгружать ракеты. После выгрузки подходит ко мне дружок мой, Игорь Соколовский, ракетчик, и показывает плоскогубцы. «Знаешь, — говорит, — где были? В контейнере со стрельбовой ракетой в метре от воздухозаборника на направляющей!» Я спрашиваю: «Чьи?», а он мне метки на изоляции показывает, в общем, раздолбай один из наших же, срочников. А ракеты те, керосинки, П-6 и П-5Д, если помнишь, стрелялись из надводного, сначала маршевый движок разгоняли, потом пороховой стартовик срабатывал. При этом тягу такую развивали, что за десять метров впереди контейнера ничего и никого быть не должно было.

В общем, стреляй мы с теми плоскогубцами — ай-яй-яй бы что было.

А было все это за две недели до нашего ДМБ ... Вот и не верь потом в судьбу.

Удачи. Сергей».

«Саша, привет. Прочитал тебя, и нахлынуло. Север, север. Там не знаешь что с тобой через пять минут будет. Вот идешь по дороге, один, впереди никого, сзади ни души, мороз, солнце, и вдруг из-за поворота вылетает стая одичавших собак — штук двадцать. Летят на тебя. Эти псы человека не боятся. Это тебе не волки. Каждый размером с овчарку, только не такие длинные, а покороче, повыше, на лайку похожи, но только на очень большую лайку. У тебя на соображение меньше минуты. Вокруг ни деревца. В руках только портфель. Даже палки нет. Все в снегу. Все, что ты можешь (и должен) это не пугаться. Собрался. Изготовился. Напрягся так, что, кажется, кости сейчас лопнут. А они — как в замедленном кино, время, как застыло, — подлетают и... проносятся мимо...»

«Доброе утро, Александр! Спасибо за письмо, буду знать немного больше про подводный флот-щит родины (при слове «щит» мне переводчику сразу вспоминается слово «дерьмо»). Людей у нас действительно никогда и нигде не жалели. Кстати, это и сейчас так происходит. Примером тому Чеченская кампания (особенно первая).

Блядство в армии не закончилось, оно растет в геометрической прогрессии.

Офицеры уже не те, бойцы другие, бардаку от этого только прибавляется.

Когда я смотрел фильм про «К-19», меня охватило чувство «единения с родиной» я так его называю, когда в ужасе понимаешь, что, блин, никуда на фиг уже не денешься и будешь двигаться вместе с этой машиной прямехонько в жопу.

Немного эмоционально. Зато, правда.

Первый раз такое чувство охватило меня в училище военном, не помню уже почему, вдруг, только понял я, что никто не будет думать о потерях, когда надо выполнять

задачу, при этом задачу будут выполнять, и перевыполнять, не важно как, главное — с опережением графика.

Второй раз я прочувствовал это в Чечне, когда полк собирали с миру по нитке, когда одновременно по вечернему новостному эфиру шли кадры разгрома после ночного штурма Грозного, когда все офицеры штаба и сам командир докладывали командованию о полной неготовности подразделений к боевым действиям, тем более в городе.

Получилось все просто: выдали оружие и шмотки, одели, погрузили на технику и вытолкали взашей туда.

А там сами разбирались уже на месте. Нам повезло, на штурм Грозного нас не послали, держали в резерве, а потом были другие задачи. Но чувство «единения с Родиной» (как я его называю) я запомнил навсегда. После этого мелкие неприятности вроде ухода жены или потери работы, или еще чего-то кажутся просто смешными.....

Ладно, что-то я разошелся....

Теперь у меня два дня рождения (один из них — 1 февраля, то есть, я родился еще раз 1 февраля 1995 года).

А необученных солдат и полумертвую технику мы в поле сделали нормальными, способными и адекватными ситуации своими силами (все-таки в училище не на лохов учат, знаний у нас много), но для этого потребовалось три месяца. А другие полки все три месяца теряли людей, технику, учились ценой крови, «воевать чеченов».

Всего доброго и удачи!

Евгений Огибенин, пехотный старлей»

«... Значит, говоришь, твоя лодка не попадала во всякие аварии? Это вам везло: за 10 лет — ни царапины.

Как сказал один иностранный киногерой: «Странное русское слово — везет. Кто везет, куда везет, чего везет?..»

Но, тем не менее, везет! И нам везло, хотя в передряги разные попадали. Во всяком случае, за три года у нас покойников не было. Царапины и переломы не в счет. У тебя про «рваные выходы» хорошо сказано. Так вот наши 675

проекты (10-я ДиПЛ 2-й КФЛП КТОФ) в силу их изрядной изношенности и урезанной автономности (при мне — если не ошибаюсь — до 40 суток) в основном и использовались для кратковременных выходов.

Автономка для нас — это был настоящий ПРАЗДНИК! Только в автономке можно было отдохнуть от всех этих береговых нарядов, идиотских построений, оргпериодов и бесконечных приборок. Не думай, что все это — только с матросской колокольни. Офицерам не слаще приходилось. За все три года мне только одна автономка и перепала, и та какая-то «дикая». Раз подняли всех по тревоге, с вечера до утра грузили продукты и регенерацию и параллельно вводили ГЭУ. Штурмана с картами, уже отдав кормовые чалки, ждали! Потом вышли за ворота, отдифферентовались, погрузились, и как дали куда-то полным ходом!

Для 675 проекта 21 узел — это предел мечтаний! При этом наше гвардейское железо гремело и завывало так, что у американских акустиков на том конце океана, наверное, уши закладывало. Мой боевой пост был 43-й, это в центральном сразу за эшафотом (то бишь, за перископной площадкой), ГКП — ПУТС (приборы управления торпедной стрельбой). Там же БИПовский планшетист за моей спиной во время торпедной атаки (или отработки цели) терся. А через тоненькую переборку ближе к носовой — выгородка штурманов. Я с ними всегда хорошо жил, и на то немало причин было. Обычно они меня в свой пост всегда пускали, но в этот раз — и близко не подходи! Но у меня на ТАСе — торпедный автомат стрельбы — стоял прибор ввода курса своего, завязанный с картушкой гирокомпаса, по нему-то я и понял, что мы куда-то в сторону Филиппин пороли. Так вот перли мы две недели полным ходом (я думал, старушка на ходу развалится), потом развернулись, и обратно с той же скоростью, пока у берегов Камчатки не всплыли. Что это за автономка такая была, толком до сих пор не знаю. Одно мы поняли точно — своим грохотом чью-то скрытность обеспечивали. То ли «Налим» (667 проект) на позицию боевого де-

журства выходил, то ли кто-то из новых, малозумных (670, 671 проекты — только с Севера первые пришли).

Но был и у нашей старушки праздник! Правда, не с нашим, основным, а со сменным экипажем.

Сходил наш атомоход в Берберу, в Сомали.

Вот порассказали потом ребята (некоторые из наших прикомандированными ходили). В Бербере они из себя дизелюху изображали, на входе усердно дизелями дымили, однако ГЭУ во время стоянки не расхоложивали.

Так что практически все выхода у нас были рваные. Самые страшные — с двухчасовым сеансом связи. Каждое всплытие — боевая тревога, да вахты, да перегрузка регенерации каждые 12 часов. Через двое суток начинаешь сон путать с явью. Я по молодости в первом на вахте СТОЯ спал! По левому борту в узком проходе, уперевшись лбом в аварийный брус, спиной в переборку, а коленями — в РДУ (она же работает, теплая)). А по третьему году — оборони Бог! Как бабушка отшептала! Потому как уже ученый был, и чувство ответственности появилось — за себя и за других.

Был у нас узбек — Абузяров, на полгода старше меня. Как водится, вечный вестовой. В базе — на камбузе, в море — в кают-компании, но числился торпедистом. Весной 75-го ушел на ДМБ Мишка Андрийцев, торпедист — срочник из первого отсека. Арбузову — так его в народе для понятности звали — полгода оставалось. ГОДОК — не хрен моржовый! Мишка без замены ушел, что-то тогда напряг с личным составом был, у меня тоже молодого не было. Так что выгнали нас в моря в очередной раз, и заскучали мы с Дим Димычем. Двухсменку тащить — это вам не компот вишневый из провизионки тырить! Дим Димыч Даниленко — мичман, старшина первого отсека.

Вот кто-то из командования, уж не помню, бычок наш, или старпом, и додумался — Арбузова на ходовую вахту поставить. А что? Торпедист? Торпедист! Нехай тоже родную потащит, дабы служба раем не казалась!

Досталась ему мишкина боевая смена — с 12-ти до 4-х (моя-то — пожизненная «собака» — с 4-х до 8-ми). Страшными словами Арбузова всей БЧ-3 инструктировали — «Только, падла, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!! Чуть что не так, буди Дим Димыча, или Серегу! Понял?!» Вроде понял. Как-никак, техникум человек закончил. Если диплом не купил, у них там это запросто.

В первую же его вахту слышу сквозь сон из каюты — шмон какой-то в отсеке, возня неясная. Заклинило носовые горизонтальные рули! Благо — почти в плоскости рамы, чуток на погружение. Боцман кормовыми дифферент держит, а глубина-то помаленьку растёт. На наших проектах еще не было системы автоматического удержания глубины без хода. Одним словом, тонем! Медленно, но верно! Аварийную тревогу почему-то объявлять не стали, возможно, высокое начальство с нами было. Бегом гонца в первый, с местного поста переключивать.

Фигов вам полную сумку! Не переключиваются! Давление гидравлики в норме, все клапана в норме. В чем дело? Давай этого аборигена пытаться. Пока за грудки не взяли, молчал, партизан! Оказалось, этому сыну солнечного Узбекистана перепускные клапана сладко дремать, сидя в кресле между аппаратов, видите ли, мешали! Боцман в центральном рули переключивает, а клапана — пшш, пшш — шумят то бишь. Ну, он чуток прислушался и вычислил источник! Да и ликвидировал его, не откладывая в долгий ящик! Взял и закрыл клапан слива гидравлики привода НГР! Гидрашка шуметь перестала, что и требовалось для безмятежного узбекского отдыха! А чего ей шуметь? Напор-то есть, а слива-то нету!

Правильно говорят, дурак на лодке — хуже диверсанта. Переглянулись мы с Дим Димычем, и молча двухсменку стали тащить до самой базы, без стонов. Жить-то хотцца!

Но этот дурак с рождения, а «Так точно! Выполним! Сделаем! Родина! Костями ляжем!» — это другие дураки.

Поэтому и ушел с флота! А жаль! С морем я как-то сразу сжился. Но с этими... Умные долго не выдерживают. Уходят. Или их уходят. Система селекционирует себе подобных, работая при этом на самоуничтожение. Закон природы! А против закона не попрешь...

Один умник как-то не так давно сказал о России — дескать, пока от дна не оттолкнемся, не всплывем. А я вот думаю — пока до дна дойдем, быть может, и отталкиваться уже некому будет?

Как считаешь?

Жму руку.

Луков»

РОБИНЗОН

Я нашел на посту пустой бланк журнала. Начал в нем писать. Буду писать, пока шарик в ручке не кончится. Может, это никому и не надо, но так мне легче, как оказалось.

Я — Попов Павел Леонидович, 19... года рождения, боевой номер — 5-105-21, осталось служить полгода, то есть, мне 20 лет.

17 ноября на семьдесят вторые сутки похода в 6.30 утра я сидел в своей ВХЛ-ке (боевой пост в десятом отсеке), когда услышал, как центральный объявил: «Аварийная тревога! Пожар в девятом и восьмом отсеках!»

Я открыл дверь поста и выскочил наружу. Вахтенный — матрос Рзаев Рустам исчез, слинял, скорее всего, потому что дверь в девятый только на защелке, и через нее уже дым сочится. Я закрыл на кремальере и еще на болт, чтоб ко мне, чуть чего, не прорвались. Потом пошел докладывать в центральный: «Десятый к бою готов! В отсеке только Попов».

Мне сказали: «Есть!».

Потом я, как и положено по РБЖ (руководство по борьбе за живучесть), включился в ИП (изолирующий противогаз), и в соответствии с книжкой боевой номер, начал замерять содержание угарного газа в отсеке. Замерил — три ПДК (предельно допустимая концентрация). Все это я доложил в центральный, но там творилось невообразимое и мне никто не ответил, потом продули все ЦГБ и лодка всплыла в надводное, после чего погас свет, видно рух-

нула защита реактора и мы сели на батарею — горело только аварийное освещение, а потом и оно погасло.

Когда это случилось, я успел посмотреть на часы — 6.55.

«Каштан» центрального не работал. Не смог я связаться и с пультом, и по телефону, и по аварийному телефону. Наверное, все выгорело.

А, между тем, температура в отсеке повышалась, стало трудно дышать в маске противогаса. Да и говорить в ней по телефону — одно уродство, правда, он не работал.

Я решил держаться, для чего я, сперва на ощупь, а потом сообразил и нашел аварийный фонарь, загерметизировал все клапана на переборке, по которым и практически, и теоретически ко мне может прорваться дым. Потом я перетащил все аппараты ИДА (индивидуальные дыхательные), все ИП-ы в район трюма. Туда же стащил все регенерацию, потому что она на штатном месте близко от горячей переборки. В маске очень тяжело стало. Пот глаза заливает. Я еле успел в трюм прыгнуть, чтоб охладиться.

Перед этим я посмотрел на глубиномер — мы были в надводном.

А пожар бушевал. На верхней палубе отсека невозможно стоять, даже через тапочки жжет, не говоря уже о теле.

Я маску с лица тогда сорвал — невозможно. Но дыхание задержал, да и глаза щипало — бегом в трюм.

Я в него сразу пустил воду, чтоб мне по шейку было и нырнул.

Не знаю, сколько так просидел, потому что часы от воды на руке встали. Надо было в посту посмотреть, но жарко и темно — я фонарик приделал в трюме наверху, но из экономии погасил.

Это все я пишу задним числом, чтоб вы не думали, что я чокнулся и всюду с журналом бегал.

Через сутки, кажется, температура начала спадать. А так я в воде, как в кипятке, сидел и периодически нырял, чтоб голова остыла.

Тихонько стал вылезать из трюма наружу. Глаза щипит, дым, все же, прорвался, но предметы вокруг видно.

Переборка еще очень горячая — не дотронуться.

По приборам, давление в соседнем отсеке повышенное, но это из-за пожара.

Я решил дать в отсек воздух из системы ВСД (воздух среднего давления), а то из соседнего мне всякая дрянь непонятно как просачивается.

Дал воздух от пневмоинструмента и так сравнял давление с соседним отсеком. У меня давление повысилось. Стало две атмосферы избыточного.

А до этого я замерил угарный газ, углекислый газ и кислород, потому что, как себя поведут приборы, и что они покажут при давлении — я не знаю. Угарного оказалось 100 ПДК, но это, кажется, вранье и я бы давно сдох, а уклеислоты, как это ни странно, всего 0.5 процента — тоже, наверное, вранье. Кислорода — 23. Это хорошо.

Я посмотрел на время — на посту есть часы — 12 часов. Только чего: дня или ночи — не знаю. Пытался стучать по всему, что под руки подворачивалось. Потом сообразил. В нос я стучал по трубопроводам гидравлики — до шестого отсека они всяко идут, а за борт — по кингстону помпы. В ответ — тишина. Нашел термометр. Но он, кажется, тронулся — показывает 80 градусов.

А до этого я придумал вот что: чтоб немного защитить себя от угарного газа, я снял с запасной кассеты для фильтров, пластиковый мешок и надел его на голову. Потом я вскрыл банку регенерации, достал из нее все пластины и развесил их по отсеку. И еще, я взял одну пластину в руки и сунул себе под мешок. Держал ее так, дышал на нее и всюду с ней ходил.

Потом, когда успокоился, почувствовал, что я ничего не ел и не пил. Нашел воду в аварийном бачке и еду. Там было десять банок тушенки, сгущенка. Нашел десять банок сухарей, черных сухарей — это, как подарок. Я даже сказал Богу спасибо.

Я сейчас это пишу, и думаю, что Бог, все-таки, есть. Жаль, что я не знаю ни одной молитвы, конечно, но вот что странно: я как сказал только: «Слава Богу, есть еда, не все из аварийного запаса разворовали, сволочи» — так мне легче стал. Я даже проверил, сказал про себя только

одно слово: «Бог» — и мне сразу хорошо, и я понял, что я прорвусь, не смотря ни на что.

Конечно! А что мне еще остается?

Мы так и находимся в надводном. Но вот что странно: оба вала вращаются.

Когда всплыли, был такой момент, когда они замерли. А теперь опять пошли. Или мы идем в надводном — и это лучше всего — значит, живые есть, хотя на чем мы идем — это еще вопрос, но, может нас взяли на буксир и за ноздрю тянут, или нас тянет течением — это хуже.

Есть ли на корабле люди? Я это пытался выяснить всеми силами. Все сигналы, что на переборке нарисованы, перестучал, в ответ — молчание.

Я решил, чтоб не сойти с ума, нести вахту. Тем более, что температура начала медленно, но спадать.

Тогда-то я и нашел журнал и записал свои впечатления.

И вообще, если б мне кто-то когда-то сказал, что я начну так в журнале писать, и это для меня станет самым важным в жизни, то я бы, наверное, обхохотался.

Периодически говорю Богу спасибо, потому что меня это укрепляет.

Я решил начать несение вахты с осмотра отсека на тот предмет, есть ли протечки воды. Их не оказалось. Потом я все время следил за давлением у себя и в соседнем — там оно постепенно падало и через сутки после того, как я стал вести отчет времени и назвал это первыми сутками, уже можно было дотронуться до переборки, и рука, все таки, терпела.

Температура в отсеке тоже снизилась, и даже по тому чокнутому градуснику составила 60 градусов.

Валы вращаются. Я думаю, что это не течение, и нас, все же, волокут. Хочется так думать. Стучал — ничего.

Я записал сам себе задание: стучать во что бы то ни стало.

Решил стучать еще и по кислородным трубопроводам, я их, кстати, тоже перекрыв и по углекислотным — они тоже до шестого отсека.

Вообще, корма живет с шестого отсека, а нос — с первого до пятого. Не достучаться. Но я все равно стучу.

Я спросил у Бога: стучать? Он мне ответил: да. То есть, не совсем у Бога, я спросил у себя и ответ пришел от меня же, но, когда я думаю, что это все он, то мне легче.

Да, мы же в надводном. Хочется, конечно, люк десятого попробовать открыть. А вдруг открою и сразу на свежий воздух. Но люк десятого — это такая сволочь — его только старшина команды трюмных у нас умеет открывать напополам с кувалдой. У меня же отсек под давлением, с люком будут сложности: давление надо сравнивать. А я тут подсчитал, что если по штатному — то я его неделю равнять буду.

А если не равнять, то крышку люка вырвет и меня по ней размажет.

Я научился действовать в темноте. Экономлю фонарик. Разобрал несколько манометров, снял с них светонакопители. У меня их с десяток. По отсекам я теперь хожу так: на голове у меня полиэтиленовый мешок, под ним — в одной руке я держу пластину регенерации, а другой — гирлянду светонакопителей, на поясе у меня фонарик. Если увидеть меня со стороны, то я, наверное, на чучело похож.

Содержание вредных примесей все равно измеряю. А вот кислород мне больше не замерить — батарейки сели. Но у меня еще нетронутых десять банок регенерации, а это мне на шестьсот сорок часов.

Меня беспокоит только угарный газ — последний мой замер — 50 ПДК, вранье, конечно, или я что-то ни так делаю. Трубок на высокие концентрации угарного газа у меня мало — всего четыре осталось. Решил мерить раз в сутки.

Вода нигде не просачивается. Нырять в трюм — у меня там теперь ванна. В туалет хожу в гальюн — на мой век его хватит.

Написал в журнале дату: 20 ноября. Так выходит по моим расчетам. После аварии прошло трое суток. Изменений — никаких. Еду я растягиваю. Все время хочется пить. Болит голова, но я ее охлаждаю. В отсеке 45 градусов.

Теперь у меня давление выше, чем в соседнем и постепенно падает. Там — полторы атмосферы, у меня — где-то меньше двух. Падает.

У меня в стержне мало пасты, и потом, от температуры, наверное, или от перепадов давления, что ли, она немного потекла. Надолго ли хватит? Но я придумал: когда закончится паста, я буду просто шариком писать без пасты. Шарик будет корябать страницу, а потом, если надо будет прочитать на поверхности, повернул лист и с той стороны заштриховал карандашом и буквы проявятся. Мы так в детстве играли, теперь вот пригодилось.

Пошли пятые сутки. Стучу — ноль эмоций. Уже просил Бога, чтоб меня услышали. Он мне сказал, что я достучусь. Чушь, понятно, но я верю.

Концентрация угарного падает, я всюду вешаю пластины регенерации, ем сухари. За бортом вода восемь градусов. В отсеке — сорок. Столько времени прошло, а все еще жарко.

Сегодня решил съесть тушенку, жарко, вдруг она испортится.

Съел — ничего. Вода у меня стухла, но я теперь из цистерны питательной воды пью. Там получше.

Тушенку съел всю. Стущенку оставил — что ей сделается. Стучал. Вода не просачивается. Крен и дифферент — в норме. И самочувствие у меня хорошее — все в своем колпаке хожу. Спросил у Бога: мне ходить так? Он сказал: да.

Разобрал старый серебрянно-цинковый аккумулятор. Вытащил пластины. Почистил. Интересно, что из них серебро? Это мне для воды надо. Я положил и то, и другое по очереди в воду, настоял и отпил. Там, где вкуснее, посчитал, что это серебро. Проконсультировался с Богом. Он подтвердил.

Уже неделю так живу. Стучу — безрезультатно. У меня кончилась паста в ручке. Все обыскал — вдруг, где еще

завалилась — нету. Несу вахту. На сон я себе отвел немного времени. Завел себе порядок: прошелся по отсеку, замерил, прикимарь немного, потом посмотрел на часы. Чтоб не потерять счет времени.

Уже привык так спать. Первые пять суток вообще не хотелось. Да и сейчас это сном вряд ли можно назвать.

Стучу через каждые полчаса по три минуты. Все время подаю сигнал SOS.

Азбуку Морзе я вспомнил, как это ни странно. Учил когда-то, да забыл, а сейчас — всплыла. Я теперь на кинг-стоне поэмы выстукиваю. Так, для себя.

Прошло десять дней. Иногда такое на меня накатывает. Но я теперь сразу к Богу, а он мне: терпи, все получится.

От нечего делать, жизнь свою вспомнил. У меня мать и бабушка. Там, чуть чего, передайте, что у меня все было хорошо и я не мучился.

Сегодня двенадцатые сутки, как я один. Решил отметить это дело. Открыл сгущенку. Вкусная.

Сходил потом искупался — нырял в трюме.

Двадцатые сутки. Бог, а ты есть? Он говорит: да. Я тоже так думаю...

.....

.....

.....

.....

Его достали через месяц, когда пришли в базу.

Тогда-то и обнаружилось, что в последнем отсеке кто-то стучит.

Он почти ослеп, был весь седой, а к себе прижимал журнал...

КАДЖАРАН

армянские рассказы

КАДЖАРАН

Дядя Жора называет вагоны, дотащившие нас до Кафана «дуровскими». Ему нравится это слово, и он повторяет его сто раз. Вагоны давно разбиты, списаны и могут быть предназначены только для спешной переброски войск или для перевозки горожан к их сельским родственникам.

Из Кафана мы поедем в Каджаран, в горы, населенные истинными армянами.

Надо вам представить дядю Жору. Дядя Жора похож на медведя. Он огромен и темен. Его черная с проседью спираль волос, уложенная вокруг головы, кое-где оборвалась, и обрывки торчат в разные стороны.

Дядя Жора, как всякий, уважающий себя армянин, носит большой нос. Рот у него тоже большой, и он станет еще больше, если вы отпустите парочку замечаний относительно дяди Жориного автокрана, то время, когда он — дядя Жора — ждет зеленый свет светофора.

В таких случаях он легко выкатывает глаза и проклятя на четырех языках: русском, армянском, азербайджанском и узбекском.

Моя жена, племянница дяди Жоры, называет его просто Жорой, на что он обижается ровно три секунды.

Со всех сторон к Кафану подходят горы. Между горами по ущелью вьется шоссе. По нему мы и доедем до Каджарана. Он так и стоит между горами. С одной стороны у него горы абсолютно голые, с другой — покрыты шерстью лесов.

В эту поездку на четыре дня я поехал потому, что никогда не видел гор, моя жена поехала потому, что меня нигде нельзя оставлять одного, и дядя Жора поехал потому, что без него в горах обязательно пропадут и племянница, и ее бестолковый муж.

Собиралась еще моя теща, потому что в горах нельзя оставлять без присмотра дочь, зятя и дядю Жору. Ее отговорили в последний момент.

Мы везем четыре арахисовых торта, чай и кучу конфет.

Слева скоро откроется каменный медведь — он стоит на горе и это эмблема Каджарана, — справа пока виден памятник Давид-беку, великому армянскому царю. Он сначала наголо разбил турок, а потом долго скакал от них по любым возвышенностям.

Дядя Жора говорит с шофером такси только на настоящем армянском языке. Его лицо временно выражает презрение ко всему, что не относится напрямую к Армении и к Каджарану. Он пускает в ход свои кустистые брови, о которых мы забыли упомянуть.

Мою жену каджаранская родня называет «русс баджи» — «русская сестра» — за то, что она понимает по-армянски только тогда, когда не слишком сильно крутят языком.

Я же не понимаю ни черта, и мне достается только мимика дяди Жоры. Он хвалит Кафан, Каджаран, дорогу, шофера и меня с женой. Он рассказывает, что я первый раз в горах, и шофер на крутом горном вираже бросает руль и, развернувшись всем телом, рассматривает меня, как редкий заграничный плод. Я ему счастливо киваю, он делает рукой жест «а да, ты смотри-э!» и возвращается к дороге.

Я нахожусь в радостном ожидании и готовлюсь улыбаться. Улыбка заменит мне язык. От армянского у меня с детства остались только четыре фразы: «Клохэт тагхэм!» («Голову твою похороню!»), «Мама екала, канфет перала!» («Мама пришла, конфеты принесла»), «Ашкет ворес!» («Твой глаз в мою жопу!») и «Паго-о-о!» (возглас удивления). Из них я надеюсь составить что-то вроде приветствия.

Приехали. Незаметно не получилось: тетя Тамара, сестра дяди Жоры и моей тещи, увидела нас издалека. Она с балкона простирает вперед руки, безжалостно и звонко хватается за щеки, снова посылает руки вперед и сотрясает ими в воздухе. Между ней и дядей Жорой на расстоянии пятидесяти метров происходит маленький местечковый крик. Раньше я думал, что с такой скоростью и так громко можно только ругаться. Наконец, мы попадаем ей в объятия. Всем нам достается, тетя Тамара человек очень сильный. Она бросает на стол связку арахисовых тортов и, размахивая рукой в пяти сантиметрах от носа дяди Жоры, кричит длинную, изувеченную фразу.

— Вуй, вуй, вуй! — качает она головой, все еще не веря своим глазам. Потом она срывается с места, она знает, что надо делать: надо нас кормить.

На столе появляется чай, ореховое варенье, много хлеба и сыр. Мне, потому что у меня вид бледный и худой, приносят шиповниковый суп. Проглатываю его и быстро, неуловимыми движениями, накладываю себе ореховое варенье.

Когда я вижу ореховое варенье, я теряю ориентацию в пространстве и во времени. Я брошу всю родню и побегу, покажи мне издали ореховое варенье. От жадности у меня внутри все ноет и кишки, если прислушаться, поют какой-то экзотический гимн.

Я не знаю, сколько можно съесть орехового варенья. Оказывается, можно съесть сколько хочешь. Нельзя мне говорить: ешь ореховое варенье сколько хочешь, — от этого я могу заболеть.

Пришли сыновья тети Тамары, «братья армяне», Марут и Мартун. Среди моих каджаранских родственников, слава Богу, не попадают такие знаменитые, теперь уже армянские имена, как Нельсон, Наполеон, Спартак, Багратион, Гамлет, Тауэр, Травиатта Семеновна или, на худой конец, Аэлига Сумбатовна.

До сей поры, все эти «нельсоны» и «наполеоны» встречаются еще в природе исключительно из-за армян.

— Спар-так! Нель-сон! На-по-ле-он! — разносится в каком-нибудь, увитом виноградом, дворе. — И-ди-те до-мо-й ку-шать! — и три героя, в строгой исторической последовательности, выбирают из песочницы.

— Ар-мя-не, да! — говорит в таких случаях дядя Жора с невообразимой гримасой на лице. — Ни одного имени нет человеческого — все исторические!

Марут хочет сказать мне что-нибудь приятное. Он лучше всех говорит по-русски — научился в армии.

— Хорошо, что ты приехал, — говорит он и смущается.

Моя жена радостно сообщает мне, что в детстве она беспощадно была Марута и Мартуна. Огромный Мартун слышит мою жену, смеется и кивает.

— Мы с тобой пойдем на медведя, — говорит он мне, — ты хочешь пойти на медведя?

Я на секунду перестаю жевать и говорю ему, что я еще не выбрал то место, куда я буду сломя голову бежать от медведя.

Армяне все прибывают, и затухающий галдеж разгорается с новой силой. Все орут независимо друг от друга, как в опере, и только я молчу, вращая во все стороны головой.

На диване плачет ребенок. Никто не обращает на него никакого внимания. Если б на это обращали внимание, у них не было бы столько детей. Наконец, тете Тамаре его плач надоел, не переставая что-то говорить, она хватает его и одним махом сдергивает с него штаны; поворачивая попкой кверху, она раздвигает ему ягодицы и по самый нос заглядывает внутрь. Нет, тут все в порядке. Если тут все в порядке, значит ребенок голоден, и она засовывает ему в рот хлеб с медом.

По-другому не бывает.

Появляется дядя Армен. Он худ и величественно носат. Орел по сравнению с дядей Арменом выглядит жалкой заборной птицей. Его профиль можно чеканить на монетах. Оживший императорский портрет. «Бена-э!» («Сам понимаешь!» или «Вот это да!»)

Дядя Армен — завгар, потому он всемогущ в этих го-рах. Каждое его слово имеет свой индивидуальный вес,

каждый жест — свое индивидуальное значение. Курит и говорит дядя Армен медленно. Он не виноват в том, что вы не знаете здешнего языка.

После землетрясения, случившегося здесь в шестидесятых годах, всех каджаранцев переселили в многоэтажные дома. Землетрясение не вытрянуло из них любви к огороду и домашней живности, и по утрам за окнами охает, крикает, хлопает, возится и кудахчет.

— Э-э-э... деревня-да! — с непередаваемой гримасой «а, да, мы из города!» говорит дядя Жора и выбрасывает в окно мусор со стола.

После обеда мы идем на огород. Я, жена и дядя Жора. Не знаю почему, но еще в поезде мы сговорились сразу же пойти на огород.

Идти далеко, но дядя Жора украшает дорогу встречами со своими знакомыми и разными родичами по всевозможным побочным линиям и ветвям.

Встреча происходит так: дядя Жора вдруг останавливается. Между ним и соплеменником происходит напряженное взглядывание. Потом тот говорит: «Ты — Жора?» — это понимаю даже я, — «Да-э-э-э-да!» — говорит дядя Жора.

«А-а-а-да-а-а!!!» — несется, наконец, с обеих сторон и они бросаются друг другу в объятия. После первых поцелуев немедленно наступают вторые. Потом, отпустив друг друга, они перечисляют все те года, что провели в разлуке. За это время мы с женой успеваем вдоволь натренироваться в улыбках. В качестве поощрения нам посвящается несколько фраз. После них нужно обязательно кивнуть. Мы киваем. Через каких-нибудь десять метров нас подстерегает следующая встреча. «О-о-о!!! А-а-а!!!» — несется со всех сторон.

Мы не прошли еще и ста метров, как наша жена, как всякая женщина, уже утомилась.

— Деревня-да! — оправдывается дядя Жора. — Я его пятьдесят лет не видел.

— Ты бы хоть их через одного узнавал, — успевает вернуться наша жена в промежутке между лобзаннями.

Она почти враждебно вглядывается в каждого встречного.

Дорога подползает к туннелю. Навстречу нам несутся «КРАЗЫ» с породой. Здесь горно-обогажительный комбинат. Над туннелем — канатная дорога. По ней движутся вагонетки. Если вагонетка срывается, она пролетает по воздуху метров двести, прежде чем успевает превратиться в металлолом. В туннеле сыро и холодно.

Не успеваем мы выйти на солнышко, как перед нами, грозно рыкнув, останавливается «КРАЗ». Из него, непрерывно стеной, выпадает женщина. Женщина попадает в объятия дяди Жоры. Получается могучий, общий вопль. По его силе можно судить о том, что в руки дяди Жоры выпал ближайший родич.

— Это кто? — спрашиваю я у жены шепотом, чтоб не спугнуть эту великую радость.

— Тетя Роза, жена дяди Армена, — быстрым шепотом оповещает меня жена, и мы растворяемся в улыбках.

Тетя Роза получила свое имя с большим авансом. Она приземиста, как хижина Дяди Тома, горбата и устрашающе носата. Остатки передних зубов поразительно огромны.

Тетя Роза обнимает и целует нас. Дядя Жора вновь пускается с ней в громкий племенной ор и поднимается то, что у армян называется «галмагалом». Движение по туннелю застопорилось, «КРАЗЫ» выстраиваются и гудят, шоферы высовываются посмотреть чего это там стряслось.

Наконец, тетя Роза карабкается на свой «КРАЗ», и мы защищаемся от пыли, поднятой застоявшимися самосвалами.

Как только мы снова видим солнце, жена немедленно цепляется к дяде Жоре:

— Ты не мог с ней покороче целоваться? Все движение перекрыли!

— А! — в гнев восклицает дядя Жора и воздевает руки к небу. — Она мне нужна? Наше страшилище! Родственники-да!

Это меняет дело. По дороге на огород мы теперь нет-нет, да и вскрикиваем: «Наше страшилище! Родственники-да!»

Огороды в Каджаране разбросаны по горе. Между ними пролегла дорога. Иногда в огород можно попасть, только спустив с дороги лестницу. Часто по ней карабкается столетняя старуха.

Женщины в Каджаране обычно что-нибудь носят. Например, за плечами мешок с картошкой, а в руках — по полному ведру.

Мужчины в это время или пасут баранов, или мчатся, сломя голову, на своих бешенных «КРАЗах».

На огороде нас встречает тишина и несорванные яблоки. Набираем слив, яблок, поздних безвкусных огурцов и трогаемся в обратный путь. По дороге ругаем дядю Армена за то, что он совсем забросил огород.

Дома нас ждет ужин и шерстяные одеяла: ночью в горах очень холодно. Теплые одеяла и огромные подушки — основная ценность здешних армян. В комнатах нет люстр, обоев, мебельных гарнитуров, но подушки и одеяла есть в каждой комнате.

Утром выяснилось, что тетя Тамара всю ночь подремала на диване. Она во сне храпит, и потому она не спала на кровати, боялась нас разбудить. Жена ругает за это тетю Тамару, на что она только отмахивается. Ей нравится, что ее ругают.

Храп тети Тамары заслуживает того, чтобы ему посвятить несколько строк. Мы услышали его на следующее утро, когда уговорили тетю Тамару заснуть на кровати. Это что-то великое, мощное, всепроникающее, всенаползающее из мрака. Низкие тона немедленно переходят в высокие, берущие за душу. Обрываются они на ноте невыносимого страдания. После небольшой, но качественной оркестровки, состоящей из шелеста, клетота, бульканья, свиста, храп повторяется. Опять что-то великое наползает из мрака.

Мы с женой часа два молча внимали, пораженные кистью мастера. Какая сила мазка! Тьма образов!

— Под него хорошо думать и страдать, — сказал, наконец, я.

— Смеяться и рыдать, — прошелестела жена.

— Под него хочется жить, — продолжил я.

— Услышать и умереть, — не унималась она.

В следующие полчаса, когда тетя Тамара перевернулась на другой бок, мы отметили непроходящее значение храпа тети Тамары, сползание с классики на джаз и склонность к импровизации.

— Много тайн еще скрыто в ночи, — сказал я, утасая, и утас окончательно.

Утром горы разродились туманом. Посещение нами леса долгое время находилось под угрозой, но...

«Хорощё будет!» — говорит тетя Тамара. И туман, густой и непроглядный, рассеивается к одиннадцати часам.

В горы нас отвезла машина дяди Армена. Нас пятеро: тетя Тамара, мы с женой, дядя Жора и Борик — сын дяди Армена.

Мы с тетей Тамарой будем собирать шиповник, а дядя Жора и Борик соберут орехи.

Грецкий орех, даже для этих гор, величественное дерево. Под его пологом темно, сыро и скользко, как в пещере. Орехи сбивают камнями. Взбираться на дерево — Боже вас сохрани. Орех хрупок и ломается целыми стволами. Если не повезет, упадешь с высоты пятиэтажного дома.

В горы было бы не попасть, не протопчи дорогу коровы: сплошные завалы из ежевики, шиповника, кизила, алчи. Лезем, скользим, хватаемся, давим коровьи лепешки. Жена цепляется где-то в кустах, а я с тетей Тамарой тем временем собираю ежевику. Происходит это так: «Саша, на!» — говорит тетя Тамара и протягивает мне ежевику.

Держусь обеими руками за кусты, чтоб не съехать с горы и открываю рот как можно шире. Тетя Тамара складывает туда ежевику. Едва успеваю проглотить, как слышу опять: «Саша, на!» — и опять открываю рот. Собирать ежевику одно удовольствие.

Из кустов вылезает жена в дикообразном состоянии. На ноги у нее налипли целые платформы не подсохших коровьих лепешек. Я навстречу ей хлопаю крыльями и разеваю рот.

— А что, разве ежевики не будет? — спрашиваю я у жены и получаю в ответ свирепые взгляды.

Не считая проклятых лепешек, жена искусана, истерзана, из нее куски торчат и во всем этом виноват, конечно же, я — жалкий эгоист, погрязший в глупостях и в ежевике, в то время, как жена повесилась на колючих кустах и уже двадцать минут, дрыгая ногами, мечтает о земле.

— А где же дядя Жора? — скольжу я по окрестностям отсутствующим взглядом, стараясь перенапрячь жену.

— Ва-а!!! — раздается из ближайшего бурелома. — Ва-а!!!

Мы от страха повисаем на ветвях. В зарослях кто-то возится и ревет. Медведь! Из под листвы с треском вылезает, закатившая глаза, жуткая физиономия дяди Жоры.

— Что испугались? — радуется он. В ту же ночь дяде Жоре приснился медведь, вылезаящий из берлоги. Дядя Жора закричал во сне, вскочил и прокусил себе язык.

А потом, сверкая в ночи белками, под жалкие повизгивания, он отправился в прихожую, где перед зеркалом разложил на ладони свой язык, долго рассматривал его, жалел себя и цокал.

— Что испугались? — дядя Жора в восторге от своей выдумки.

— С ума сошел что ли? — говорит ему моя жена. — И так страшный, а еще орешь.

— Сащя, на! — появляется из-за стволов кустарника рука тети Тамары. Ничто во время сбора ягод меня так не раздражает, как бесцельное выяснение отношений.

— Собирайте что-нибудь, не стойте! — бросаю я жене и дяде Жоре и ухожу, уводимый рукой тети Тамары. Она ходит по горам, как танк и собирает, как комбайн. Когда мужу тети Тамары говорили: «Купи машину», — он показывал на жену и говорил: «Зачем мне машина, у меня есть танк».

Где-то внизу, на дороге, восторженный, как ишак, орет клаксон. Это машина дяди Армена. За нами приехали.

— Э-э-э... — отмахивается от него тетя Тамара. Она еще ничего не собрала.

Дома нас ждет борщ, его еще вчера сварил дядя Жора.

Мне навстречу попадает Марут. Ему хочется сделать мне подарок.

— Хочешь, я покажу тебе мой карьер? — спрашивает меня Марут. Это и есть его подарок. Отказаться невозможно, конечно, хочу.

Мы кричим, что скоро будем и сбегать по лестнице до того, как голова моей жены высовывается из кухни. На улице встречаем Мартуна. Он на «КРАЗе».

«КРАЗ» здесь заменяет лошадь. Если раньше невесту воровали на лошади, то теперь это делают на «КРАЗе».

Садимся и едем. Почему-то в сторону от карьера. Спрашиваю у Марута: где же его великий карьер?

— Мы поедим в крепость Давид бека. Это историческое место. Ты хочешь в историческое место?

— Конечно, хочу, — и «КРАЗ» сворачивает в горы. Он кряхтит, взбирается, лезет. Внутри кабины мы подпрыгиваем и стучаемся головами.

Подбрасывает, на удивление, сильно.

Хорошо, что все мы мужчина, у женщин груди давно были бы на загривке.

— Это историческое место, — в промежутках между прыжками кормит меня экзотикой Мартун. — Ты не хочешь в этом историческом месте выпить бутылочку вина?

Объясняю, что вообще не пью.

— А, да, понятно, — говорят мне. — А какое ты любишь вино?

Еле отговариваюсь.

Приехали. Стукнулись головами в последний раз и замерли — «КРАЗ» останавливается. Дальше пойдем пешком. Вокруг вековой орешник, разбросанный по крутому склону. Лезем по скользким камням. Солнце укутано в листья ореха. Кругом мрак и столетья. Впереди что-то похожее на кирпичную кладку. Перелезаем через нее и оказываемся в историческом месте. Так написано на таб-

личке. От Мартуна я узнаю, что именно здесь Давид бек разбил турок. От Давид бека осталась пятиметровая сторожевая башня, а от экспедиции ереванских археологов — рвы и канавы.

— Сволочи! — говорит Мартун, имея в виду ереванских археологов, — перерыли такое историческое место! Золото Давид бека ищут, сволочи!

По приданию, Давид бек где-то здесь зарыл свое золото.

Мартун плюет и замолкает в остервенелом презрении ко всякой цивилизации. Тень Давида, услышь она Мартуна, была бы удовлетворена.

После ежевики внутри у меня творится что-то неладное. Призываю на помощь всю свою огромную силу воли и поручаю ей заняться желудком. Внутренне я уже начинаю кружить и скулить. Решаюсь обратиться к Мартуну, стараясь, как можно мягче, не задевая седой старины:

— А-а... это вот... где здесь туалет?

— Туалет?! — не понимает Мартун и делает широкий жест по развалинам. — Здесь везде туалет!

Мне становится плохо. На обломках вечности я ни за что не решусь...

Прощусь домой. Если со мной в дороге что-либо случится, то в этом будет виновато только бывшее.

— Давай поедем по старой, горной дороге? — спрашивают меня.

— Давай! — соглашаюсь я. Я теперь со всем соглашаюсь.

«КРАЗ» ревет и снова карабкается в горы. Меня мутит от дикой ягоды и поворотов.

— У Мартуна «КРАЗ» пройдет там, где ишак не пройдет! — хвастает Мартун. Мы уже полчаса каким-то чудом карабкаемся на скалы и не срываемся в пропасть. То и дело дорога обрывается, и «КРАЗ» поворачивая, вращается на задних колесах. Мне худо. Я бледнею и покрываюсь потом. Шаманские пляски желудка.

— Стой! — машина останавливается. — Вылезай! — вылезаю. — Смотри сюда! — смотрю: обрыв метров семьсот; под нами камни, камни...

Где-то там, далеко внизу, живет своей шумной жизнью шоссе, за шоссе — еще один обрыв и река. Дикая радость падения!

— Ну, как? — спрашивают меня.

Объясняю, что здорово.

— Отсюда Сурик упал.

— Да?

Жалею Сурика. Бедный. Он пролетел в одну сторону целый километр.

Едем! И камешки срываются в пропасть.

Мы едем минут двадцать. В глазах у меня темнеет, меня скрючивает — еже-ви-ка!

Когда же дом?! Когда же... все, что в нем...

Уже замелькали окрестности...

Сейчас! Сейчас! Вот! Вот! Уже! Вот он! Дом!

Винтом по лестнице и со всего маху рву на себя дверь журчащей комнаты — только бы свободна! Только бы!..

Свободна! Ура! Донес! Добежал! Дотацил! Слезы... настоящие спортивные слезы...

— Ха-ха! — сказал мне сливной бачок.

— Ха-ха! — сказал я дяде Жоре, которого я, в спешке, совершенно не заметил. Жизнь получила назад свое сверканье!

Дядя Жора ходит туда-сюда и в этом есть нечто странное.

— Не могу я-э! — говорит он мне шепотом. Вид у него проникновенный.

— Чего не можете? — спрашиваю я. После ежевики, все в этой жизни мне кажется легким и простым.

— Не могу я-э! — дядя Жора кивает на дверь, из которой я только что появился. — У них там сиденья нет.

— Где нет сиденья?

— На унитазе!

— Да-а?! — говорю я, задумчиво, пытаюсь вспомнить, было ли там сиденье. Ни черта не выходит. Сиденье не вспоминается. Делаем паузу, еще разик — ни черта!

Во время паузы дядя Жора отстраняется от меня, собирает две ладони в горсть и черпает ими по воздуху, будто что-то подбирает.

— А! — восклицает он, потрясенный своей собственной правотой. — Хорошо! Теперь их дерьмо я должен с собой увезти?!!

Насчет дерьма, довод крайне убедителен. Беру дядю Жору под руку. У меня скопилась куча. Ну, просто куча ежевичных советов. И все они о том, как не заметить сиденье.

Вечером того же дня мы идем в дом к дяде Армену. Находим его за столом. Суета его уже не трогает. Перед ним бутылка, стакан, хлеб, сыр и портрет Сталина.

— Мой отец! — кивает дядя Армен на портрет и плачет. Дядя Армен любит выпить, за что ему часто попадает. Когда моя теща, старшая сестра дяди Армена, приезжает в Каджаран и находит его в таком виде, она его обязательно бьет. Дядя Армен в таких случаях не отбивается. Он только подставляет спину и горько плачет.

А потом он рассказывает всем, как его побили.

Дядя Армен увидел меня и обомлел. Для него мое появление — полнейшая неожиданность.

«Кто это?» — вглядывается он в меня. — А-а-а... — он меня узнал. — Сащ-щ-щ-ка! — говорит он и добавляет несколько слов, глубинное содержание которых для меня навсегда останется загадкой.

Дядя Армен улыбается, видно, что он очень рад.

— Сащ-щ-щ-ка! — повторяет он и тут же начинает считать. — Гамо — полковник, Сащ-щ-ка — майор, Эдик — лейтенант, а я — генерал!..

Сосчитав всех знакомых военных, прибавив к ним и себя, дядя Армен начинает с самого начала:

— Гамо... полковник... Сащ-щ-ка... майор... Эдик... лейтенант... а я? Генерал!

Стол заполняется всякой всячиной, мы усаживаемся, и скоро я усваиваю все наполовину — и еду, и тосты.

Завтра я и тетя Тамара пойдем в горы. Остальные снова будут варить борщ — жалкие люди-желудки!

Утром тетя Тамара сказала: «Сащя! Как хороще!» — это означает, что утро теплое и тумана нет. Мы с тетей Тамарой понимаем друг друга с нескольких слов.

Мы пойдем в голые горы. Они начинаются сразу за домом. Кое-где видны чахлые кусты. Это шиповник. Он сплошь покрыт мелкой ягодой.

По таким горам лучше всего ходить в остроносых, восточных галошах. Вдругой обуви не устоять, съезжаешь вниз. Горы сложены из мелкого песчаника — шагнул и поехал.

Кроме шиповника, они еще покрыты низким, всего десять сантиметров от земли, кустарником. Его здесь называют «выз». Он растет длинными грядами. По нему шагаешь, как по ступеням. Не будь его, на гору было бы не взобраться. У него изумрудная, бархатная зелень. Я протянул руку, коснулся и зашипел. Бархат оказался жестким, как проволока и колючим, как еж.

— Хорощё, Саця! — кричит мне тетя Тамара. Она стоит рядом с гигантским кустом. В данном случае ее «хорощё» означает, что ягода крупная и собирать ее легко.

— Собираем! — говорит тетя Тамара, и мы набрасываемся на растение, как грабители на эшелон.

— Как хорощё! — говорит мне тетя Тамара. За час мы собираем целое ведро.

Дома нас уже ждут. Дядя Армен готовится делать шашлык. Может мы к чему и не готовы, но к шашлыку мы всегда готовы. В прошлый приезд дяди Жоры, дядя Армен купил целого теленка и сделал шашлык. Поздравить с теленком пришла вся деревня.

— А-да! — выпучив глаза, вспоминает дядя Жора. — Никогда таких родственников не видел! Свекра троюродной сестры сына родной племянник! Ва! Жрет, как ишак!

Но гости есть гости. Когда они расселись, дядя Жора взял слово для приветственного тоста. Он говорил и говорил. Когда он сказал и сел, теленок был уже съеден.

Теперь шашлык делают втихаря. Сведения просочились только к ближайшему окружению. Ожидается всего-то человек десять-пятнадцать. Шашлык будут делать на огороде. Я, жена и дядя Жора подъехали почти к самому огороду на машине. Последние метров пятьдесят мы идем пешком.

Огород уже виден. На нем возится тетя Роза.

— Наше страшилище! — вспоминаю я.

— Тише! — пугается дядя Жора. — Здесь далеко слышно.

В горах действительно далеко слышно. Раньше можно было даже ругаться друг с другом за километр. С вершины на вершину. Поэтому горные армяне при встрече нос в нос все равно орут. Привыкли.

— Надо говорить: наша красавица, — смеется дядя Жора.

— Эй, наша красавица! — кричит он.

С огорода ему кто-то отвечает.

— Вот видишь, — говорит мне дядя Жора.

Как только мы пришли, дядя Жора немедленно набросился на дядю Армена. Пошло минут десять, а он все еще бегаёт по огороду, вопит, глаза его сверкают, кулаки с ужасающей скоростью молотят по воздуху. Время от времени он подбегает к дяде Армену и тычет пальцем в шашлык. Дядя Армен уже принял успокоительное. Он невозмутим, как утес. На все выкрики он реагирует так же, как и верблюд на лай — презрительно цыкает.

— Что стряслось? — спрашиваю у жены. Оказалось, что дядя Жора рассказывает дяде Армену как надо готовить шашлык, а дядя Армен говорит ему: «Отвяжись!»

— И все?

— И все.

— Я думал ругаются.

— Что ты! Было бы в десять раз громче!

Наконец, шашлык готов. Мы рассаживаемся за длинным столом под яблоней. Тост скажет дядя Сережа. Он встает, берет в руки стакан и начинает. Ему то ли шестьдесят лет, то ли восемьдесят, а может, и того больше. Он и сам не знает. Рука у него железная. Он всю жизнь сено косит, а потом его носит. Дядя Сережа начинает свою речь. Сперва никто не ест шашлык. Все торжественны и слушают. Мне кратко переводят. Нам желают здоровья — здесь переводчик замолкает. Дядя Сережа все говорит и говорит.

— А-а... еще что? — интересуюсь из вежливости у переводчика.

— Я же говорю, о здоровье. Он про здоровье еще не кончил. Рассказывает какое оно было раньше и какое теперь.

Все потихоньку, с отсутствующими физиономиями, щиплют шашлык и быстро запихивают его в рот.

Я наблюдаю. Интересно они запихивают. Будто уминают там, что ли.

Дядя Жора мне делает знаки глазами, мол, давай, щипай, это никогда не кончится.

— Ну, как, — спрашиваю у переводчика.

— Теперь он говорит о счастье.

Я осторожно щиплю шашлык, а потом все быстрей и быстрей.

Когда дядя Сережа сказал свой тост, есть уже было нечего.

Наступает вечер. С гор тянет прохладой. Вершины в огне вечерней зари, как сказал бы поэт. За них зацепилось солнце. Все вокруг стало красным: и воздух, и деревья, и лица.

Прощай, Каджаран, мы завтра уезжаем.

В тех же самых вагонах мы поедем назад.

В дороге будем есть то, что завернет нам с собой тетя Тамара и вспоминать горы, шиповник, огород и шашлык.

Не забывайте нас, «братья армяне».

ПИРАТЫ

сказки середины 80-х

ПИРАТЫ

— Пират Федя и корсар Вася!

Оба моряка, услышав свои имена, тут же подтянулись. У них даже взгляд затуманился, а сердца охватила серьезная морская тоска.

— Тысяча чертей! — воскликнул пират Федя. — Скажи мне секунду назад, что я попаду на борт этой, страдающей ревматизмом, старой лохани, и я хохотал бы безумно, и всякий честный пират сделал бы то же самое!

— Это уж точно! — отозвался корсар Вася. — Где у нее фок-мачта? Где брамсели? И где, я вас спрашиваю, бом-брам-стеннга?

— Тысяча косых головастик! — поддержал его пират Федя. — А корма? Где вообще, с вашего позволения, корма? А нос? Покажите мне нос! А борта? Это борта? Где я, по-вашему, размещу свои пушки? Тухлая кадушка больше похожа на славный бриг, чем этот сын гладильной доски на корабль! А где трюм? Где кубрик, я вас спрашиваю, где капитанский мостик? Это, что ли, мостик? А тут что такое, хромые хромосомы? Палуба покрыта тюфяком? А это что, подушка? Пресвятая Богородица, одеяло?

— Спокойно, ребята! — раздался голос, и моряки обернулись: перед ними стоял высокий человек.

— Все, что вы говорили — верно. Это не корабль, а просто кровать. А вы, хоть и отчаянные моряки, все же сделаны из того, из чего делают кукол.

Вы назначены сюда и будите здесь нести свою вахту, пока малыш будет спать.

А когда ему станет страшно и одиноко, он вас обнимет, положит под щеку и наговорит вам всяческих слов, а вы его согрете.

Скоро мальчик вырастет, но он вас никогда не забудет. Не забудет ваших историй, в которых плещется море, пахнет водорослями и кричат чайки.

Вы сделаете его настоящим моряком, и однажды он раскроет чемодан в корабельной каюте, и достанет вас из него.

И тогда вы увидите море. Оно будет совсем не таким, как в ваших рассказах, но, все-таки, оно будет близким, понятным, родным.

Он поставит вас в изголовье, и вы снова будите его охранять.

Нет для моряка лучше защиты, чем защита далекого детства. Клянусь огнями Карибского моря, это настоящая жизнь!

Ничего не ответили ему моряки. Они заняли свои места и замерли по обеим сторонам от подушки.

А мальчик им очень обрадовался. Каждый раз, засыпая, он обнимал их и клал их под щечку, и шептал им смешные слова.

СОЛНЦЕ И ЗАЙЧИКИ

У Солнца много детей. И зовут их — солнечные зайчики.

Их столько, что бедное Солнце не может запомнить всех по именам. Оно просто зовет:

— Зайчики! Идите домой, пора кушать!

И все зайчики бегут к Солнцу, а на земле без них становится темно и сыро даже днем.

Солнце спохватывается. Оно быстро кормит гадающую мелюзгу и отправляет их назад:

— Скорей назад, к людям!

Зайчики любят приходить к людям. Особенно по утрам. Они залезают в окна и поднимают лежебок.

— Эй, лежебока! — садятся они ему на нос. — Там снаружи всю летают стрекозы! Сколько можно спать? Давно же уже утро! Пахнет листьями и землей. Вставай скорей! Смотри сколько воздуха! Послушай море у скал. Загляни в небо. Какие там мягкие облака!

А лежебока гонит зайчиков и переворачивается.

— Ну, нет! — говорят ему зайчики. — Мы не отстанем! Ну-ка, держи его за уши, я подергаю за нос и открою ему глаза — во-от, та-ак! Сказали же, что поднимем!

— Как вы мне надоели! — говорит лежебока и садится на кровати. — Когда же я выплусь? Я так мало в жизни спал! Не пойду умываться! Вот!

На зайчиков охотится жадная тяжелая тучка. Когда она их ловит, то, отшлепав, отправляет назад, приговаривая:

— Беспутная у вас мать! Скоро всех растеряет! Беспорядочные дети! Я бы этим людям ничего не давала! Наоборот! У них нужно все отнять! Они все пачкают! Ломают!

Зайчики бояться жадную, старую тучку. И бегут на нее жаловаться Солнцу.

— Она нас не пускает на землю! — кричат они издали. — Она жадная!

— Она не жадная, — говорит им на это Солнце. — Она старенькая и ворчливая. Она ворчит на вас, на меня, на людей, на весь свет. Подождите, пока она уснет. Тогда все, что она собрала себе, выскочит у нее из рук и упадет на землю. Туча несет и людям, и букашкам много добра. Только она никогда это не показывает. Она считает, что нельзя их баловать. Может, она и права. Она проснется, раскричится, разгремится на весь мир, забросает его молниями и ливнями, и уйдет, недовольно ворча, так ничего и не оставив для себя. Я подарю ей радугу.

— Зачем ей радуга? — кричали наперебой солнечные зайчики. — Она ее не любит! Не дари ей ничего! Она плохая! Все равно, плохая!

— Даже злюка зной от радуги становится немного добрее. Радуга красивая, а рядом с красотой все становится лучше. Смотрите, как мы заболтались. Туча давно ушла. Вам пора лететь и дарить людям утро! Быстрее малыши!

И зайчики снова залезают в окна и тормошат лежебок:

— Эй, лежебока! А ну, вставай! Тучи давно уже нет! Мы ее прогнали!

ЧЕРТЕНОК

На чертовой кухне не было никакого покоя: летало, визжало, стучалось и разбивалось вдребезги!

В адском котле густо кипела всякая мерзость, в трубе — гудело, в углу — шипело, по столам — скакало и квакало!

С уханьем раздувались меха, и адский пламень плясал по чертовым рожам.

Дело в том, что на уроке общей гадости, который вел сам Сатана, лучший ученик дьявольской школы предложил отныне и навсегда делать гнусности только руками самих же людей.

— Нужна первая, первейшая пакость, совсем маленький толчок, — говорил он с лукавой усмешкой, — а уж люди ею поделятся, и она, множась, поползет по земле. Вот, к примеру, что если подбросить кому-нибудь чертенка и...

— Гениальная гадость! — воскликнул сам Сатана. — Спойте ему!

И чертята спели ему гимн: «Гадость, гадость — наша радость!» — а Сатана вручил ему раньше времени копыта и хвост. Осталось только ждать удобного случая...

— Матерь Божья! Пошли мне ребеночка... ангелочка... маленького и всего-всего в розовых складочках... Как я хочу ребеночка... На днях от соседки зашла девочка. Матерь Божья! Как она меня обнимала и целовала... Мне не хотелось жить...

Слышите? Это молится вдова пономаря. Она стоит в углу на коленях и просит у Бога ребенка. Нельзя просить слишком громко. Нельзя кричать на весь мир. И еще нельзя вслух мечтать и радоваться, иначе раньше Бога тебя может услышать лукавый, или судьба-завистница все перепутает.

Ой! Вон в печке мелькнул чей-то хвост! Нет... показалось...

— Что это? Мне чудится чей-то плач!.. Не чудится, Господи!.. — вдова бросилась за дверь и вскоре внесла в дом большое лукошко.

Ветер за окнами превратился в вихрь. Он гнал траву волнами, связывал верхушки деревьев и с хохотом бросал на землю стволы, а потом поднимал их на воздух и куролесил, куролесил, куролесил, ломая вокруг все.

Только домик вдовы оставался невредим. Казалось, вихрь облетает его. Внутри мягко горела волшебница свечка, и было очень тепло, может быть потому, что их стало двое.

В лукошке лежал маленький мальчик. Он так глядел на вдову, как будто бы все понимал и его черные волосики топорщились, словно рожки.

По щекам у вдовы текли слезы, но она их совсем не замечала. Она смотрела и не могла насмотреться, а потом она тихо смеялась и снова, счастливая, плакала...

Мальчик рос, как на дрожжах. Вся улица звала его чертенком. Он носился по ней, как угорелый, а если и останавливался, так только тогда, когда находил лужу, чтобы в ней до конца извозиться, или для того, чтобы, скривившись, высунуть свой длиннющий язык и сказать во все стороны: «Ме-е-е!»

Это он побрил ленивца кота, а потом влез на крышу к соседке, богомольной старушке, и опустил его ей в трубу.

Дом вздрогнул. Старушка чуть не умерла на месте, и тут же совершенно излечилась от паралича, которым за что-то когда-то давно наградил ее Бог.

Она черной птицей вылетела в окошко и помчалась по улице, а когда остановилась, то всем рассказала, как во время молитвы ей явился черт.

Это он мазал стены домов в свой любимый сизый цвет и учил собак правильно выть на луну, а если он только попадал на рынок, земляника сама исчезала с лотков — ягода за ягодой, — и каждое яблоко оказывалось надкушенным.

А в прошлый раз яйца у жадной торговки грохнулись наземь и, пока она собралась сказать: «Ай!» — там еще кто-то на них сверху попрыгал.

Лицо у торговки сразу стало длинным-длинным, и синим-синим, как слива.

Только вдова в нем души не чаяла.

Она, конечно же, сильно расстраивалась, когда к ней приходили с жалобой, и даже не раз плакала, но стоило ей только увидеть его лукавую мордочку, как от слез не оставалось и следа, все ее беды казались такими небедами.

Лишь одно ее очень печалило: мальчик никогда не называл ее матерью и еще никогда не ласкался.

А вот она снова стоит на коленях, что-то просит у Бога. Нехорошо подслушивать, но мы же совсем чуточку:

— ... Нет, Господи, нет! Это соседка наговорила. Ты ей не больно-то верь. Люди не все добрые. Иные и очень злые. Это она сказала моему мальчику, что я ему вовсе не мать. От того-то он так и дичится. Но ты же знаешь, Господи, как все было. Я уже и не ждала совсем, и вдруг — такое чудо...

Нет, он хороший мальчик. Только немного шалун. Ой! Он спустил ей в трубу кота. Но я его тут же отшлепала. Ну, и испугалась же она! До смерти! Болтовни, как ни бывало. И это на целый день.

А ты же знаешь, Господи, какой он у меня умненький! Ему бы учиться! Я все продам, только бы он был ученый, хороший человек! А когда он выучится и вырастет, мы уедем отсюда. Он возьмет меня к себе. Да! Я тогда буду старенькая и не смогу так много работать. И он будет обо мне заботиться. Он меня никогда не бросит. Что ты, Господи, и думать тут нечего! А потом у него будут дети. Много детей. И я их всех буду нянчить. Вот счастье-то, Господи!..

Тут вдова немного поплакала. Ну, совсем, чуточку.

А чертенок тихо-тихо подобрался к ней — он давно стоял сзади и слушал, — и обнял ее, и прижался — теплый, мягкий и сладкий комочек. Вдова так и замерла.

А потом еще он сидел у нее на коленях.

Они долго смотрели друг в друга. Прямо в глаза.

У него глаза большие и чистые, и совсем не черные.

Вдова прижималась к ним, что-то шептала.

Оставим их. Им сейчас не до нас.

Ох, и переполох бы на чертовой кухне!

1985

ЖИЛОЙ

остров моих историй

Жилой

Вода была теплая. Мы заходили по щиколотку и долго шли под старым причалом. Нужно было дойти до большого камня. Он в самом конце.

Там по шейку, там водились креветки, и мы на них охотились.

Нужно встать неподвижно, и тогда креветки отправятся к нам.

Они подплывали и пробовали нас своими лапками — жив-мертв, а мы остороженько подводили руку и хватали их, как мух со стола.

Креветка немедленно съедалась.

Нам исполнилось по двенадцать лет и мы хотели есть.

А еще ловили кефаль. Она подходила к самому берегу за рачками-бокоплавами, и ее можно было поймать на удочку-закидушку.

Только надо очень сильно дернуть в момент клева, потому что кефаль — рыба могучая, а челюсть у нее слабая, и она одним рывком рвет себе челюсть и уходит, а когда ты сам рванешь, то, может быть, успеешь выбросить ее на песок.

Кефаль мы жарили.

А Юрка Максимов говорил, что свежую рыбу можно есть сырой.

В обед приходил отец и водил нас в столовую. Там мы ели жутко невкусный суп и второе.

Отец у нас работал на этом острове.

Остров назывался — Жилой.

У Юрки Максимова очень смешной папа. Мы закатывались над каждым его словом. А он воодушевлялся, делал гримасы — тут мы вообще помирали, а если он плавал в море, то всегда задира л зад и говорил: «Так плавают пожилая дама».

Юрку я учил плавать. Сначала все шло хорошо, а потом мы поплыли до буйка, развернулись и назад. Плыдем, и вдруг он мне говорит: «Я дальше не могу, устал» — «Ты чего, — подплыл я к нему, — сейчас же плыви!» — а он начал тонуть, захлебывается, глаза бешенные и выкрикивает только: «Саша! Саша!» — я к нему, а он очень сильный вдруг стал, только я рядом оказываюсь, хватается за меня, на голову мне забирается и мы вместе тонем, но под водой он меня отпускает, я отплываю, потом снова к нему и все повторяется.

После я приноровился его под водой толкать к берегу. Подныриваю, чтоб он меня не достал, пихаю и всплываю на безопасном расстоянии.

Мне показалось, что я его целый час толкал. Наконец, задел я ногой дно. «Дно! — кричу ему. — Становись на дно!» — Он встал, и тут силы его оставили, — повис у меня на руках. Так я его на песок и вытащил.

Мы долго лежали, пока он в себя приходил, потом пообещали друг другу ничего никому не рассказывать.

А через несколько лет, нам уже по шестнадцать было, у Юрки на день рождения его отец поднял тост за меня. «За Саню! — говорит, — который мне сына спас!» — а я на Юрку посмотрел, мол, эх ты, договорились же никому ни слова, а тот говорит: «Я ни при чем!» — оказывается, видели нас, только добежать не успели.

Папа у Юрки потом совсем спился. Не узнавал уже никого и зубы у него выпали.

На острове люди жили только в той части, где имелась вода. Все остальное — глиняная пустыня с верблюжьей колючкой, полынью, осокой. Там ходили козы. Козы в штанах. Чтоб не порвали вымя о колючки.

Так нам объясняли здешние мальчишки. Вечно голодные, они кланчили рыбу у рыбаков.

Те причаливали, пьяные и на палубе у них стояли ящики с килькой.

Они бросали бутылки в море, а мы ныряли за ними, доставали и сдавали. На деньги можно было купить еды или сходить в кино.

Только в кино мы чаще бесплатно через забор прыгали.

На диких пляжах отдыхали ужи и тюлени. И тех и других в воде мы боялись. Ужи просто неприятны. Вдруг касались тела.

Тюлени в воде двигались лениво, но быстро. А под водой они вообще напоминали торпеды.

Так нам казалось. Как увидишь такой снаряд — воздух из легких вырывается в крик.

В море я далеко плавал. Отплывешь с полкилометра, посмотришь назад, на берег и будто ты на горе. Вода выпуклая. Поверхностное натяжение.

Однажды встретил белугу. Очень испугался. Думал акула. Плыл и сам себя успокаивал: на Каспии нет акул! На Каспии акул нет! Так до берега и доплыл.

А рыбища здоровенная — жуть!

Со старой пристани хорошо нырять. Дно очень чистое. Там на кефаль можно охотится с острогой. Мой брат Серега мог две минуты пропадать под водой, а я — только минуту.

Потом понял почему: надо не бояться воды, и все дело, как бы нехотя, тогда и спазмы наступят не сразу.

Кислородное голодание очень коварно. Можно не заметить и потерять сознание. Это я где-то читал. Честно говоря, часа через три в воде начинает казаться, что воз-

дух тебе и вовсе необязателен — забываешь дышать. До этого доводить не стоит.

Одно точно: все люди, попадая в воду, тут же начинают с ней сражаться, а она не враг.

А еще мы мидий ловили — отдирали их отверткой. Ели, конечно, сырыми.

Я даже верблюжью колючку пробовал. Интересно же за что ее любят верблюды.

А еще полынь жевал — говорят она лечебная.

Но самым вкусным казался черный хлеб с маслом. До сих пор, как представляю себе горячую горбушку, так слюнки и побежали.

А еще ворованную кильку можно есть просто так. Это нас местные научили мальчишки. На хлеб ее и сверху посолить.

Ели вместе с головой и потрохами. Летела, как мышь в пустой амбар.

Километра три по побережью и начинался Золотой Пляж. Это мы его так называли. Он весь уложен белыми раковинами и на солнце сверкает. На нем никого — одна красота, да заблудившиеся козы.

Видел, как козы пробуют пить морскую воду. К середине дня очень хотелось пить. Вода на острове солоновата, и потому в полдень мы шли на охоту за арбузами. Серега смастерил арбалет, стрелу мы привязывали веревкой.

Бахча обнесена забором, мы стреляли через щели, потом подтягивали арбуз.

Однажды нас увидел сторож:

— Эй, пацаны! Идите сюда, так арбуз дам!

Как же! Так мы и пошли. Взрослым мы не доверяли. Еще по роже надает.

Серега мог под водой съесть кусок хлеба. Он потом и меня этому обучил. Надо хлеб, тот, что во рту, сначала разжевать, а следующий кусок в себя как бы втягивать.

Мы даже на спор с ним ели. Спорили с кем-нибудь: а спорим, что под водой все съедим? Прыгали в воду и выигрывали.

Сергея еще воробьев из рогатки стрелял. Мы их жарили, а когда отец приносил домой осетра или икры, начинался пир. Ели, как пылесосы.

И еще мой брат здорово под водой в ловитки играл. Я его никак не мог поймать. Мы с Валеркой — нашим младшеньким — следили на пирсе, как он в воду уходил.

Там на дне лежала старая труба, и он все в нее хотел забраться.

Просто так. Интересно же.

А я волновался чего-то. Будто чувствовал.

Он нырнул и не выходит. Минута прошла — нету, вторая течет, течет.

— Валерка! — говорю нашему мелкому, а у самого голос срывается. — Давай за кем-нибудь быстро!

Он пулей, а я в воду нырнул, и тут мне Серега навстречу всплывает весь ободранный: он в той трубе застрял, еле вырвался. Там мидии выросли как зубы: вперед пропускают, а назад — нет. Пришлось ему до конца трубы ползти.

— Ты больше так не делай! — говорю ему.

— Ладно, — говорит и кровь с него течет.

Я-то знал, что сейчас Серега отдышится и опять чего-нибудь выдумает.

Например, это он придумал на ходу электрички на насыпь прыгивать. Кроме него, это никто сделать не мог. Просто руки от поручней не отрывались.

Вообще в воде много чего происходило.

Мы с ним в шторм купались. Нравилось на волнах скакать. А буря нешуточная. На берегу брат наш меньший мечется, а мы с Сергеем девятый вал изображаем. Страшно и жуткий восторг. Надо только следить за волной; чтоб о скалу подводную не ткнуло; потом, чтоб не вывалило на берег — там еще как о дно грохнуть может — мало не покажется; потом, чтоб на плавник не

напороться — его в бурю много, откуда он только берется; потом опять за волной надо следить, чтоб хребет не сломала.

Так и катались.

А однажды на далекой плите купались. Плита — это скала. Вершина у нее плоская, отсюда и название. До нее плыть-то недолго, с километр, наверное. Мы туда спокойно добрались, а назад поплыли — шторм налетел: мы к берегу, а нас в бок и в море несет.

— Серега! — кричу ему, а у самого не голос, а писк какой то. — Между волнами изо всех сил, а на откате отдышаем! — он мне только кивает.

Плавал-то он хуже меня. Он нырял здорово.

А тут надо было не только плыть, но и соображать, чтоб не испугаться.

Главное, чтоб страх ноги не сводил, но за Серегу я был спокоен — этого не очень-то испугаешь.

А тут мы замерзать стали. Значит, решил я, давно плывем — за этой возней с ветром да течением совсем же времени не замечаешь.

Когда на берег выползли, тряслись, как суслики астраханские, даром, что лето и вода, как парное молоко.

А с ногами что-то страшное: не идут, и в голове, будто карусели, карусели — кружится все.

Отлежались.

И сейчас же солнце, а ты дрожишь, и тебе хорошо, когда оно печет, ты до него жадный.

А после уснул.

Но лучше на пляже не спать — спалишься.

Это мы хорошо знали. Значит надо идти, а отнесло нас далеко. Сначала идешь до вещей, натянул их кое-как и до дома, и уже в доме можно в кровать завалиться.

Жили мы в маленьком домике: крыльцо, туалет, кухня с плитой и столом, две спальни. В одной отец, в другой — мы, три брата.

А у Валерки далеко от берега судорога была. Иголкой колотья — это чушь. Я кололся — все равно боль адская.

Я, как услышал, что Валерка завопил, сразу понял: она. Плохо, если сразу две ноги. Надо на спину перевернуться и полежать. Часто бывает: только отпустило, пошевелил и опять схватит. Это просто мышцы устали.

Но плыть надо. Мы Валерку подпираем с двух сторон, он терпит и гребет. Больно, конечно, но требуется терпеть. Тут или ты судорогу, или она тебя.

Главное, не бояться.

Сколько людей от одного только страха утонуло.

Иногда икру хватает. Эта самая болезненная. А если пальцы сведет, ногой двигать можно. Вверх, вниз, гребок, еще один.

Главное отвлечься. Придумать себе думу. Представить, что ты папуас и у тебя лодку разбило, вот ты и плывешь. Иногда помогает.

Так далеко мы втроем редко заплывали. Обычно только я туда заплывал, а ребята с пристани ныряли.

А раз отплыл далеко и сейнер. Его чавкающий винт под водой хорошо слышно. Главное, чтоб он в стороне прошел. Однажды — очень близко. Даже слышал, как на палубе кто-то крикнул: «Смотрите, пацан в море!», — и сразу: «Где?» — «Справа по борту только что был!» — «Тут же до берега больше километра!» — «Точно, был!»

Был, конечно, только я нырнул и ушел в сторону: выловят еще, потом отец накостыляет.

Хотя, наверное, не тронет. Отец нас никогда не бил. Но все равно нарываться не хотелось.

Иногда меня спрашивают: сколько я могу плыть, и я отвечаю: да сколько хотите. Вот только спать на воде так и не научился. Некоторые наши хвастались, что умеют, но, я думаю, врал. Если вроде как растворяешься и в ту же секунду опять себя чувствуешь, так это не сон, но после такого провала ощущаешь себя бодрым, свежим и снова можно руками махать.

На Жилом местные жили ловом осетра. Конечно, запрещенное это дело, но осетра ловили много и в основном на икру, так что туши шли по 50 копеек за кило.

Он варенный очень вкусный. Да и жаренный тоже. Особенно, если делать из него шашлык.

А бабушка его мариновала: варила с лавровым листом и горошинами черного перца, потом добавляла уксус и ставила дозревать.

Часа через два можно было есть. Но лучше охлажденным и через сутки.

Мы появлялись с Жилого в конце лета — шумные, загорелые, вытянувшиеся, худющие — бабушка поднимала радостный крик: она кричала: «Вай! Вай!» — а мы слонялись по комнатам, и от счастья не знали куда себя деть.

Биостанция

Это мама нас туда привела. Она считала, что мы будем лучше расти на природе. Биостанция помещалась в парке в Черном Городе. Это единственное легкое Черного Города и работало оно изо всех сил. Воздух там невыносимой свежести.

А еще настоящие лианы. Мы на них немедленно залезли и через секунду исчезли в кроне дерева. А вид-то какой с этой вершины открывался: кругом зеленые волны и небо.

Мы слезли, конечно, но часа через полтора.

На биостанции директором была старенькая азербайджанка. Она все время ходила собирать траву для попугаев. Те встречали ее диким гвалтом. А еще в саду разгуливали павлины. Они охотились за майскими жуками и устраивали турниры — раскрывали свои хвосты и трясли ими. Много кур, кроликов и морских свинок. Их разводили, вели за ними научные наблюдения. Мы тоже должны были вести за ними наблюдения, чистить клетки и кормить.

Навозу было больше, чем наблюдений. Но мы тут же узнали, что кролики рычат, если лезешь к ним в клетку, бросаются на руку и бьют передними лапами. И еще они не любили, чтоб их гладили. Оказывается, очень мало животных любят, чтоб их гладили. Например, петухи не любят: начинают на тебя охотиться.

А собаки любят. Там имелась семья собак: мама, папа и щенята. Папа — огромная кавказская овчарка, мама — тоже, а щенята напоминали медвежат. Папа сразу с нами подружился и разрешал на себе ездить. Если этому увальню что-то не нравилось, он просто башкой валил тебя с ног. Свирепый он был только на вид.

Хотя, если кто приближался со стороны забора к его раю, тут же гавкал. Голосом он напоминал молодого льва.

Папу запрягали в телегу, и он развозил по станции пищу, землю, горшки, и вообще участвовал.

Там еще был бассейн с золотыми рыбками. Можно опустить в воду руки, и они начинали пробовать что ты им принес.

Братья мои тут же проворовались — они стащили несколько рыбок. Я проворовался позже. Я стянул кактус. Господи! Какие там были цветы: застенчивые розы, наглые гладиолусы, пушистые хризантемы, чопорные лилии, веселые амариллисы, нежные пионы, скромные флоксы, благочестивые крокусы, добрые великаны георгины, умницы примулы, болтуны петунии, невозмутимые седумы, честные садовые ромашки, глупые мальвы, коварные выюнки, чуткие ноготки, отзывчивые фиалки и кактусы.

Эти меня поразили: гигантские шары эхиноактуса, с желтом бархатном кепа цефалия на верхушке и множеством мелких цветочков, опунции, похожие на армаду оцетинившихся лучников, скромняги эхинопсисы и лобивии, изнемогающие от красных, желтых, белых цветов, сотни мамиллярий, гимнокалициумы, пародии, клейстокактусы и прочие.

Я стоял, открыв рот. Я и не догадывался, что такое в природе бывает. Я увидел чудо. Я протянул руку и больно укололся.

Чудо было колючее.

Но я его все равно стащил. Я не мог иначе. Я его должен был в руках держать.

Маленький отросток селеницереуса — принцессы ночи. Если б вы видели его цветок, вы бы меня поняли — это была огромная белая лилия.

Сколько я слез пролил, когда мое воровство обнаружилось. Я раскаивался. А мне говорили так, как и я потом, через много лет сказал своему сыну, ощипавшему мамиллы у мамиллярии: «Как же ты мог! Она же живая!»

Мог. Я очень хотел, чтобы дома, на нашем окне, обращенном на север, когда-нибудь расцвела царица ночи.

Глина и пластилин

С биостанции меня поперли, и мама, неутомимая в своих поисках, направленных на наше непрерывное совершенствование, устроила меня в изобразительную студию.

Я изображал там статуи. То есть, я лепил фигурки из глины.

Глина хуже пластилина, а из пластилина я лепил давно.

Десятки ковбоев, оседлав мустангов, сражались у меня с индейцами, вооруженными ножами. Они наносили друг другу ужасные раны, они умирали, произнося монологи, достойные Фенимора Купера. Потом я их чинил, и все повторялось.

Они скакали по горам и долам, их подстерегали горные львы и гориллы, для удобства перенесенные мною из Африки в каньоны Дикого Запада.

Они падали с обрыва.

Их бомбили с самолетов с помощью костяшек домино.

Их бомбили мои братья, с которыми у меня был договор «ты сначала убиваешь этого, а потом я того», и которые нарушали его совершенно вероломно, убивая под шумок, гораздо больше дозволенного.

Все всегда заканчивалось нашей общей дракой, куда вмешивалась и бабушка, а потом все топтались, сцепившись в единую массу — в середине была бабушка — и коверкали моих ковбоев, и потом я их снова лепил со следами напополам.

Ковбоев сменили животные, животных — литературные персонажи — Маниловы и Чадские.

Поэтому меня и отдали в изобразительную студию, где я пожал железную руку преподавателя — настоящего скульптора — а потом за один присест изваял из глины льва.

Лев отправился в печь на обжиг, а потом и на выставку работ выдающихся детей.

Жаль, что в студию надо было ездить через весь город. Если б она находилась под боком, из меня, в области глины, вырос бы Пазолини.

Балет

А еще мы поступали на балет. Это мама нас отвела. Меня и Серегу, Валерка был еще мал.

Нас приняли.

Как потом выяснилось, из-за меня, хотя я не знал ни одного па.

А Серегу взяли за компанию, он очень старался, плясал им «яблочко».

Я вообще ничего не плясал.

Нас раздели, было прохладно спине, попросили пройтись, повернуться.

Мы были в одних трусиках.

Под пристальными взглядами отборочной комиссии я чувствовал себя не очень.

Может, потому мы и забросили это дело, хотя нам передавали, что нас ждут и «что ж вы не ходите».

Дом

Сталинский дом. Мы получили в нем двухкомнатную квартиру, в пятьдесят девятом году переселились и принялись радоваться: высокие потолки, большая прихожая. Переезжали зимой в мокрый снег. Жутко мело.

А дома — дощатые красные полы. Только-только от краски просохли. Батареи маленькие, но тепло, если не дует норд.

Так называли северный ветер. У нас и окно, и балкон выходили на север. Когда он дул, то легко отжимал двери балкона.

Потом отец сделал приспособление для подтягивания этих дверей. А мама еще подкладывала всякие тряпки, чтобы было хорошо.

Туалет и ванна — раздельно. Кухня. Там холодильник «Саратов». Он простоял тридцать лет, не ломаясь и не выключаясь.

У плиты — бабушка. Она обожала готовить.

Бабушка жарила картошку и макароны — нашу основную еду.

Вода на пятый этаж поднималась слабо. Текла из крана тоненькой струйкой. Мы ведрами носили ее с улицы и наливали в ванну.

В ней никто не мылся. В ней хранился неприкосновенный запас воды.

Крышу мы тоже чинили сами.

Вылезали на нее в дождь и прикрывали дырки сорванным шифером.

А на Новый Год — пироги с вареньем и торт «Наполеон» — коржи пропитывались заварным кремом и становились нежными — пальчики оближешь.

А хорошо было пробраться ранним утром первого января в мамину комнату, стянуть там со стола кусочек торта, записать его в рот, отчего в нем немедленно образовывались потоки сладкой слюны, а потом быстренько назад в свою комнату и под одеяло с головой, чтоб согреться.

Двор

Сначала дом стоял один в степи, рядом обосновались только финские бараки с садами, огородами, длинным общим коридором и кухней, по которой сновали тараканы, а потом вокруг выросли хрущевки.

Во дворе мы играли в догонялки, в лапту, в футбол и хоккей — для чего сами делали коньки из дерева и шарикоподшипников.

Коньки жутко грохотали.

Во дворе я учился драться.

В этом деле имелись свои учителя. С первого же удара выяснилось, что я закрываю глаза.

— Ты чего? Нельзя закрывать!

После этого я не закрывал.

А Серега дрался лучше всех. Он дрался один на один, один на двоих, троих, пятерых и на сколько хочешь. Он говорил, что десять человек очень мешают друг другу и их легче бить.

Чем больше было противников, тем отчаяннее он становился.

Из драки его было не выгнать.

В бою он умудрялся достать всех.

А драки у нас были страшные: палками, цепями, камнями, ножами. Улица на улицу, район на район, двор на двор. Просто так.

Серега уже восемнадцатилетним верзилкой дрался на Шиховском пляже. Один против толпы с палками. Нападали они довольно организованно. Стремились взять в круг. Он вырвал у одного нападавшего его оружие, и драка приобрела новое качество.

Молотили друг друга более часа.

Серега выстоял. Все тело у него было исхлестано, но на песке в крови остались лежать человек десять, столько же уползло самостоятельно.

Васька

У нас было два кота. Одного — старого, гладкого, черного — мы привезли с собой на новую квартиру.

У него не было какого-то особого имени. Все его звали — Котик.

Другого принес я.

Такого крошечного и пушистого. Мне дали его на автобусной остановке. Там обосновалась будка диспетчеров.

— Мальчик! — позвали меня. — Смотри, какой пушистый!

Я пошел посмотреть и вышел с комочком в ладони.

Если к нему приближали глаза, он зарывался в свою шерсть.

Я прибежал домой.

— Бабушка! — вскричал я. — Смотри, кто у меня есть!

Бабушка посмотрела, проверила где-то, сказала, что это кот, и он у нас остался.

Вечером пришла мама, и мы сгрудились около него на кухне. Он уже поел хлеба с молоком и довольный урчал.

Взглянуть на находку пришел и Котик.

Котик отличался довольно независимым характером, и мы следили за этой встречей с большой тревогой, но он обнюхал малыша, а потом тот запищал и полез под него.

Кот оторопел. Он поднимал лапы — передние и задние — он перешагивал аккуратно, чтоб не наступить, а Васька — так мы его назвали — все к нему лез.

Наконец Кот сдался и лег, Васька забрался к нему на живот и успокоился. Кот его лизнул, мы разошлись.

Эта дрянь — Васька, естественно выросла довольно быстро, оказалась жутко игручей и в конце загоняла старика Кота.

Васька подкарауливал его у каждой двери, подстерегал и нападал из засады.

Тот доставал его лапой с уха и прижимал к земле, но только этот маленький негодай оказывался на свободе, как нападение повторялось

Бабушка гонялась за ним с веником, чтоб он только не приставал к старику.

Ваську украшал огромный хвост-веер. Это был пушистый сибирский кот.

Через много лет старый Кот упал с балкона, разбился и умер.

Я как чувствовал, что вот сейчас он разбился, вдруг прибежал с кухни на балкон и посмотрел вниз — он там лежал.

Я слетел по лестнице, обежал двор и вылетел на улицу.

Я схватил его на руки, он не дышал, и из пасти текла кровь.

Я плакал так, что кто-то, проходящий мимо, сказал, усмехнувшись: «Смотри-ка, над котом!..» —

«А вы, а вы!..» — только и смог я сказать, между душившими меня спазмами.

Мы похоронили Кота в степи. Вырыли могилу и положили сверху камень.

Васька старился медленно. С балкона он падал раз пять. Всякий раз приземлялся удачно.

Шестой раз он упал уже в преклонном возрасте, разбил себе нос и задние ноги.

Он их волок за собой, и жутко нуждался в человеческом участии, и поэтому взбирался на кресло, где я сидел, подтягиваясь на передних.

— Ну что же ты, старина, ну иди, поглажу, — говорил я и гладил, гладил, калеку кота.

Потом он научился ходить.

Потом умер, забравшись под шкаф.

Книги

Я очень любил читать. Любимое я читал сто и двести раз. Например, Тома Сойера или «Всадник без головы». А потом я разыгрывал все прочитанное на кровати.

У нас была низкая самодельная кровать на панцирной сетке, где одеяло — равнина, а подушка — гора, и сам я полз из последних сил, истерзанный колючками, обезумевший от жара в крови.

Я стонал — меня никто не слышал. Я истекал кровью, и мухи роились надо мной.

Теряя сознание, я доставал револьвер, чтоб прицелиться в леопарда, спустить курок и в облегчении затихнуть.

Мама нам читала «Руслана и Людмилу» и «Двенадцать стульев». Нам было лет по десять-двенадцать и мы помирились от смеха над беднягой Паниковским.

Потом, конечно, О. Генри, «Без семьи», Джером К. Джером, Марти Ларни, Диккенс, «Кола Брюньен», старые журналы «Вокруг света», «Белый клык», «Три мушкетера», «Война и мир».

Я замерзал, лежал на поле брани, тонул, шел по скрипучему снегу.

Братья тоже читали, но я всегда понимал, что я другой, а они — другие. Я от этого сильно страдал. Я хотел быть, как они — я их очень любил.

У меня ничего не получалось.

— Мама! — ябедничали они. — А Сашка опять вместо уроков читает книжки, и ты ему ничего не говоришь!

— А вы учитесь, как он, и я вам тоже ничего не буду говорить.

— Да-аа.. хитренькая...

Я действительно хорошо учился. Хватал налету, быстро делал уроки и заваливался на кровать с книжкой.

Под чтение удобно было грызть сухари. Старый хлеб бабушка превращала в сухари. Мы их целый день грызли.

Хотя, ябедничал на меня один только Валерка, а Серега — никогда. Серега обижался. Он считал, что мама любит меня больше всех.

В детстве любовь взвешивается на особых, детских весах.

Между собой мы считали, что я — любимец мамы, Серега — папы, а Валерка — бабушки.

Она его действительно обожала, и он вытворял с ней всякое. Например, она бежала в туалет и по дороге кричала: «Ой! Ой!» — а он, смеясь и крича тоже самое, успевал ее обогнать и закрыться в туалете, а она, тоже смеясь, молотила в дверь: «Негодяй, выходи!»

Мы бы, с Серегой, на такое не решились, а этому охладону — все сходило с рук.

Папа мне подарил книгу «Звери и птицы нашей Родины». Папа ее подписал: «Дорогому сыну Саше, большому другу всего живого»

Это был, пожалуй, единственный раз в жизни, когда он меня приласкал.

Поэтому, наверное, я своего сына ласкаю при каждом удобном случае.

Сестренка

Поскольку все мы родились мальчиками, то страшно смущались, если рядом оказывались девочки.

И нам всегда очень хотелось иметь сестренку.

— А зачем вам сестренка? — спрашивали нас.

— Ну-уу... — отвечал за всех Серега. — Мы б ее колотили...

У маминой подруги, тети Дзеры, росла дочка Таня. Она была младше Валерки года на три. То есть, я старше ее лет на шесть.

Если мы попадали к ним в гости, мы бегали за ней и тормозили. Нам было приятно до нее касаться. Она вся такая аккуратненькая.

Ну, а где прикоснулись, там и прижать не грех.

— Ой! — прибежала она и бухалась на кровать. — Они меня умучили!

Тетя Дзера и Попов — так, почему-то, звали ее мужа — жили на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джабарлы — там они работали вместе с нашей мамой.

Они в кино делали звук.

Оказалось, что все, что говорят актеры в кадре, они потом еще раз в студии наговаривают.

Очень смешно смотреть, как взрослые люди гримасничают, приседают, наклоняются, размахивают руками перед микрофоном в наушниках.

И все это абсолютно без звука, за стеклом, потому что все это происходило при полной звукоизоляции.

Я любил приходить к маме на студию. Там столько необычного и таинственного. Там люди делали кино.

Мама нас брала на просмотры, и еще летом можно было смотреть из киностудии фильмы, идущие в летнем кинотеатре «Низами».

Там мы, как зачарованные, смотрели «Седьмое путешествие Симбада».

Черный брат

Вдруг прошел слух, что в Баку привезли чернокожих детей, содержат их в детдоме, и скоро будут раздавать.

Мама и папа, посоветовавшись, решили съездить за одним.

Мы сильно переживали и болели за это дело. Все решали какой он будет, где будет спать и как с ним играть.

Ждали их до ночи.

Как только они позвонили в дверь, мы — тут как тут.

Дверь открылась, и папа внес в прихожую что-то завернутое в его пальто. Он развернул и рассмеялся — там внутри ничего не оказалось.

Мы надулись. Взрослые, получалось, нам все время врут, хотя сами от нас всегда требовали честности. То есть, честность — это только для детей.

Потом папа рассказал, что насчет черненьких детей — все слухи, и в детском доме очень им удивились.

— Берите светленького! — сказали они. — Вон их сколько у нас.

Светленького мы не хотели. Нам не надо было светленького. Мы сами светленькие.

Мы с Серегой еще не очень, а Валерка — суший блондин с кудряшками.

Он в детстве очень походил на девочку.

— Какая красивая девочка! — говорил про него.

— Я не девочка! — говорил он и сдвигал бровки.

Валерка жутко упрямый.

— Я сам! Я сам! — первые его слова. Я сказал «мама», Серега — «папа», а Валерка — «я сам!».

Со временем он потемнел, и мы стали его называть: «темный брат».

Валерка был очень добрый. Когда нас угощали конфетами, то свое мы с Серегой тут же съедали, а Валерка шел делится с бабушкой.

Школа

Школа находилась совсем рядом с домом. Она носила номер 22. Первого сентября 1960 года я жутко волновался — надо было идти в первый класс.

Там оказалось столько мальчиков и девочек — просто полно.

А классный руководитель у нас Раиса Николаевна — круглолицая красавица с косой.

Я ее тут же полюбил. Даже однажды у доски выступил и сказал, что в школе нам маму заменяет она.

Сильно это ее растрогало, у нее даже голос дрожал, а я нисколько не подлизывался, я свято в это верил.

Меня посадили за одну парту с Таней Погореловой и она мне не понравилась — некрасивая и вообще.

Я еще не знал кто мне нравится, но то, что не нравится она — это уж точно.

И потом она среди девочек была чем-то вроде вожака, а я вожаков в любом виде терпеть не мог.

У мальчишек никто не выделялся и не лез в начальники, хотя с Андреем Ростовым мы несколько раз просто так дрались.

Мы любили Женю Богданова — очень маленького, хрупкого мальчика, но на переменах все, почему-то, старались постоять немного рядом с ним. Как-то хорошо становилось на душе. Девочки смущались, улыбались и несли всякую чушь.

Мальчишки ничего не несли — не так много у них всяких лишних слов.

Раиса Николаевна потом болела, а мы ее навещали всем классом. Я тогда увидел где она живет: в общежитии с общей кухней, где в раковине скапливалась всякая размокшая мерзость: макароны, например.

Она занимала маленькую комнатку с низким потолком, на стенах — олени на коврах, на буфете — слоники. Потом она родила.

А меня приняли в октябрята. Остальных тоже приняли. Торжественно, и нам значки прикололи пионеры из третьего класса.

У каждого — персональный пионер.

Я почему-то немедленно проникся к своему пионеру замечательной любовью. Я решил, что теперь мы станем лучшими друзьями и начнем часто видеться.

Но мой пионер приколот и пропал. Я сильно все это переживал. Прием в октябрята на меня здорово подействовал. Потом меня принимали в пионеры, и я волновал-

ся гораздо меньше. То есть, это волнение ощущалась, как очень бледная тень того волнения.

А потом, когда, меня принимали в комсомол, я вступал в него почти безо всякого трепета и подмечал чушь.

В школе мы праздновали «8 марта» и «23 февраля».

Чувствовали все себя приподнято, на партах лежали подарки.

Сперва нам, потом — девочкам. Там я впервые узнал, что я — «защитник страны».

В классе я сказал, что мой отец немец, и все в это тут же поверили, стали выискивать и говорить мне разные немецкие слова. Я кивал и уже жалел о том, что сказал. Чего это взбрело мне в голову?

Просто отец воевал, знал немецкий и даже переводил какую-то техническую литературу, но на этом его отношение к Германии и ограничивалось.

Но, может, мне хотелось, чтоб на меня обратили внимание?

В общем, соврал, а потом меня изобличили.

А на день рождения друг к другу мы являлись всем классом и, если кто заболел — тоже.

★девочки Иночки, которая жутко мне симпатизировала, но побаивалась Таню Погорелову, мою соседку, которая, в силу своей со мной посадки, уже считала, что обладает некоторыми на меня правами, мы играли в фанты и бутылочку.

Я не знал что это такое и играл, а потом выяснилось, что надо целоваться.

Девочки раскраснелись от одной только возможности подобного, а мальчишки держались молодцами и говорили, что все это барахло.

Я поцеловался с Иночкой, которая обставила все так, что вроде бы нам с ней это выпало.

Я ткнулся губами ей в щеку, отчего у нее даже уши воспламенели.

Нам было по восемь лет, и девочки немедленно хотели замуж.

Альчики, марки и война

Во дворе все играли в альчики.

Это такие бараньи кости. Можно было выиграть еще альчики, а можно — марки.

Сергея здорово играл. Во-первых: он метко бросал, а во-вторых — если не попадал, то дотягивался — у него была широкая рука и длинные пальцы. Надо одним пальцем касаться своего альчика, а другим — чужого.

При этом возникали споры, которые сейчас же решались с помощью тумаков.

Словом, коллекция марок у нас пополнялась.

А еще играли в войну. Для чего нужно иметь много оружия, а Сергей — большой мастак по части его изготовления: арбалеты, взрывпакеты, плюющие трубки, пистолеты из проволоки, больно стреляющие незрелыми маслинами.

Я тогда еще почувствовал, как это здорово, если ты бросаешься грудью на выстрел, совершенно игнорируя боль. У тебя, словно выросли крылья.

Двор на двор, команда на команду, рядовые и командиры, шишки и ссадины, грязь и кровь.

Арнольд

В школе все боялись директора — Арнольда Борисовича Кричевского. Он являлся в образе мужчины в безукоризненном костюме и начищенных туфлях. Роста очень незначительного, но легко вылетал из своего кабинета и впадал в ярость.

А еще он с дикой силой хлопал своей массивной дверью и кричал. Глотка луженная, а крик — полноценным. Его страшно все трусили, он это знал и в две секунды навел порядок где угодно.

Мог и по башке треснуть, но это было бы настолько в нужный момент, что ни у кого и в мыслях не было что-то тут не совсем справедливо.

Он добился переезда школы в новое помещение — двухэтажное здание, с садом. Он сделал ремонт — классы сияли.

Ни дай Бог кто-то изрежет парту — он его самого изрежет.

Ни приведи Господь сломают дверь в туалете — он найдет того несчастного и отвернет его жалкую голову.

Вызов в кабинет директора переживали, как приговор к высшей мере — некоторые писались.

Страх перед ним был так велик, что старшеклассники выпрыгивали в окна, случись им где набедокурить.

Обиженная ими мелюзга мгновенно обретала в его лице могучего покровителя.

Не допускались даже щелчки по лбу.

Курильщики проглатывали сигареты, второгодники старались ему на глаза не попадаться.

Его особая гордость — школьный музей Ленина: Володя родился, Володя учился — все в плакатах, фотографиях, на стендах, и мы — первоклассники — экскурсоводы с указками. Я, например, рассказывал про школьные годы. Кто-то про эмиграцию, про ссылку.

Арнольд, раздуваясь от гордости, приводил к нам комиссии из РОНО.

Со стороны казалось, что мы рассказываем биографию его родного папы — так ему все это нравилось.

И еще он знал все про всех.

После третьего класса мы сдавали экзамен для перехода в четвертый. Я с ходу сдал математику.

Он вызвал меня к себе в кабинет.

Я вошел, млея от страха. Он увидел меня, лицо его мгновенно расцвело. Он был рад.

Нет, он был просто счастлив, и это нельзя было сыграть или подделать.

Он выскочил изо стола, в один миг оказался рядом и уже вручал мне табель с оценками.

— Молодец! — вскричал он.

— Видите! — говорил он моей маме, которая тоже присутствовала. — Видите этого человека? — мама сказала, что видит. — Запомните! Это — гений!

Потом мы с мамой вышли.

Чувство собственной гениальности меня еще долго не покидало.

Футбол

В футбол играли все. Я и два мои брата в том числе. Мы с Валеркой мяч гоняли, а Серега стоял на воротах. У него были цепкие руки, и он прыгал за мячом, не боясь искалечиться.

Матч часто заканчивался повальной дракой, но никогда это не останавливало. Однажды мы с классом играли на школьном стадионе и в кустах сидели какие-то два пацана. Мяч укатился в их сторону.

«Эй! — крикнул я им. — Мячик подайте!» — они не шевельнулись. Когда я подбежал за мячиком, один из них встал и толкнул меня в грудь. Я тут же толкнул его. Драки не получилось. Подошел самый большой хулиган и второгодник нашего класса и развел нас.

Я поразился. Он всегда такой лихой — и вдруг.

Оказалось это знаменитые хулиганы, и они могли привести с собой большую толпу. Ее-то он и опасался. Кличество приверженцев внушало уважение к этим знаменитостям довольно чахлого вида.

Пока мы оставались маленькими — это проходило. Подросли — и количество нападающих большой роли уже не играло.

Всем, кто бил меня, пока я находился в мелком состоянии, после досталось — подросли мои братья. Потом я даже не дрался — хватало одного Сереги.

Серега всегда нарушал традиции Седого Кавказа: десять на одного.

В драке его считали сумасшедшим — никто не связывался.

На уроках физкультуры мы занимались сначала отдельно от девочек. Прыгали через козла, брусья, перекладина, бег, гимнастика.

А затем наши группы объединили, и я сразу почувствовал неудобство. Тогда еще не принято было носить плавки под спортивной одеждой, но через несколько совместных занятий, я почувствовал в этом острую необходимость.

И не я один. Почти все мальчишки имели в трусах неустроенный карандаш и от этого становились пунцовыми.

Я здорово прыгал в длину. Этим и ограничивались мои познания в области легкой атлетики.

Если б меня когда-нибудь о ней спросили, я бы так и ответил: «Я здорово прыгал в длину».

В нашем классе наметился еще один лидер — довольно сильный мальчишка, но духа у него не хватало.

Ему очень хотелось меня побить, хотя в лидеры я никогда не лез.

Почему-то всем на этом пути — в лидеры — обязательно хотелось меня побить. Ничем особенным я не выделялся. Разве что мог высмеять — но это у меня с детства.

Он — в два раза сильнее меня, а позвал подмогу.

Подмога считалась блатной и училась в восьмом классе. «Ну, ты, змей!» — сказала подмога, зажав меня в ко-

ридоре. Я смотрел ему прямо в глаза. Страху не было, он все равно сильнее, так чего же бояться. Главное не уронить себя, а шишки будем потом считать.

Но драка не состоялась, кто-то помешал. «Я тебя еще найду», — пообещал блатной, но после я его никогда не видел и этот парень со мной больше ничего не делил.

Я встретил его через несколько лет. Здоровенный детина. Я бросился к нему радостно — все-таки, мой товарищ по школе, а он меня встретил ударом в грудь.

Я устоял на ногах, но драться не стал. Не потому, что он гораздо сильнее, просто мы же когда-то учились вместе.

Мне его вдруг стало жаль, я опустил руки.

«Чего ты?» — сказал он.

«Да, так...» — ответил я.

Потом я его еще раз встречал. У какой-то подворотни.

Театр

Кукольный театр.

В пятом классе мы покинули начальную школу и Раису Николаевну.

Нашей новой классной стала математичка.

Она меня привечала — я любил математику. Не то что бы я любил ее до беспомыслия, просто она мне легко давалась. До сих пор могу вывести всякие формулы.

Она обожала рисовать теорему из нового параграфа, вызывать меня к доске, чтоб я сам придумывал доказательства.

Я придумывал, но лучше меня справлялся Гурген Аванесов. Он выходил и в три секунды все доказывал. Это сходило ему раза три подряд, а потом она догадалась, что он просто учит новый параграф.

Она усадила его на место с позором, а я тогда подумал: здорово, я бы до такого не додумался.

Математичка любила устраивать всякие штуки: походы, ночевки, у моря, шашлыки, металлоломы — помню, как мы таскали старую батарею — жутко тяжелая штука, мы сто раз останавливались, тяжело дыша.

Потом она придумала театр. Кукольный. Сцену и кукол мы сделали сами.

Я играл волка в «Семеро козлят».

Оказалось, держать куклу наверху, ходить с ней и говорить — тяжелая работа. Устают руки, голова, пальцы, глотка.

Но тренировка есть тренировка — через две недели мы уже выступали.

Сначала перед своими, а потом нас показали какой-то комиссии.

Мы ездили много раз на всякие смотры. Мы побеждали.

Два состава: основной и запасной.

Я играл в основном. В одно прекрасное воскресенье я ребят подвел: надо ехать на спектакль, а я отправился с отцом рыбачить на дамбу и никому не сказал.

Целый день у меня все валилось из рук, и я кормил свою совесть тем, что они взяли запасного.

А совесть не наедалась и говорила мне, что так не поступают с товарищами. А я вздыхал и надеялся на лучшее.

Зря я надеялся. Меня ждали, искали, прибежали домой, а потом уехали, взяв запасного.

Я до сих пор помню, как у меня горело лицо и уши, когда меня подняли на уроке.

А отец, когда узнал и вовсе рассвирепел. Он был зол, растерян и опять зол.

Сказал он только: «Так нельзя!»

Я и сам знал, что нельзя — и на душе муторно, там скреблись кошки.

Взятка

Точно так же я себя чувствовал только однажды: когда мне дали взятку.

Учился я здорово, всячески соображал уже в первом классе и потому меня сразу же прикрепили к неуспевающему Юре Немцову.

Следовало приходиться к нему и учиться с ним математику.

Я учил.

Но Юра оказался непроходим. Он путал все, а еще он потел и заикался. В перерывах он показывал мне рыбок. У него в ванной комнате вдоль стены, один над другим, стояли аквариумы.

И сотни, тысячи рыбок. Барбусы, неоны, кардиналы, петушки, лялиусы, гурами, макроподы, скалярии.

Их разводил его отец.

Он разводил на продажу. Он спросил меня как там у пехи у его сына, и я сказал, что не очень.

Папа Юры переглянулся с мамой и вдруг сказал: «А хочешь рыбок?»

«Рыбок?!» — через час я оказался дома с банкой, в которой плавали кардиналы.

«Откуда?» — спросил отец, и я ему все рассказал. Про Юру, про математику, про то, как меня спросили о Юриной успеваемости, про то, что я ответил.

Папа вскочил, разволновался, позвал маму и остальных: «Идите все! Саше дали взятку!»

Я ничего не понимал: мне же подарили и потом: что такое взятка?

«Это когда тебе дают что-то, чтоб ты лучше работал?»

Я не понял.

«Сейчас объясню. Ты работаешь честно, но тот, кто дает, считает, что ты не работаешь честно, а начнешь ра-

ботать только тогда, когда тебе что-либо дают. Это и называется «взятка».

Из всего сказанного я уразумел только то, что сомневаются в моей честности.

Рыбок мы отдали. Я сказал, что у меня нет условий, и они не приживутся.

Когда я отдавал, у меня горели уши, и мне казалось, что все понимают, что я вру насчет условий, но по-другому сказать я не мог. Я считал, что мне дарили их не для того, чтоб я Юру хвалил.

Я бы его и так похвалил, если б он все понимал.

А потом мне папа сам сделал аквариум. Но это потом.

Дамба

Это на нее мы отправились с отцом и братьями. В тот день, вместо театра. Мы ездили туда время от времени, привозили с нее бычков, и бабушка их жарила. Бычки на сковороде превращались в нечто маленькое и некрасивое.

А в жизни они необыкновенно хороши: темные с пятнами, с синими плавниками. Они клевали на червя. Мы рвали червей на части и насаживали на крючок.

В первый раз следовало сделать над собой усилие, чтоб разорвать живого червя. Рвешь живое на части, и становится не по себе.

— Что ты там возишься? — окликал отец.

— Сейчас! Сейчас! — отвечал ему я.

Следовало насадить так, чтоб острие крючка было не видно, а то бычок не шел.

Он обладал большой головой, чутьем собаки и ртом-кошельком.

За бычками кроме нас охотились морские ужи. Они очень похожи на гадюку, хорошо плавают и ныряют.

Схватишь ужа, и он немедленно обгадится, испуская страшную вонь.

Прирученные ужи не гадили, и их можно было носить на шее или подкладывать девочкам в портфель.

Было забавно. Незабываемая встреча девочки и ужа происходила обычно на уроке геометрии.

Ее крик чертил в воздухе прямую, разделяющую урок на две половины: до ужа и после.

Бычков мы удили на затонувших судах — деревянных баркасах, севших на вечную мель у берега. На носу такой посуды глубина составляла примерно два метра, дно чистое и видно как клюют бычки. Такие красивые и сильные, они совершенно менялись, когда умирали. Наверное, поэтому я не слишком любил рыбалку.

Другое дело затонувшие суда — в них масса пробоин и можно заплыть внутрь. Касаться ничего не следовало: рискуешь напороться на ржавый гвоздь, но всякая наша осторожность уничтожалась солнцем, шептавшим на ухо: «Все хорошо!» — что проникало сквозь дыры в палубе, будто освещая своими могучими лучами затонувшие галеры.

Лучи разбивались о воду, и вода волновалась, мечась по сторонам, и старая изношенная шаланда представлялась уже не кораблем, а целой страной и эта страна жила своей особенной жизнью. Внутри нее протекали течения, бушевали водовороты и вихри.

Иногда она казалось живым существом, она вдыхала — тогда вода внутри прибывала, поднималась и затапливала верхние этажи.

И выдыхала — бурные потоки срывались с места и неслись в только им одним известные проломы.

А еще изможденное корыто представлялось островом или крепостью на обрывистом берегу. Стоило только лечь на живот и приблизиться к воде, как уже виделись волны

и скалы, и то, как пристает к берегу пиратское судно, и вот уже флибустьеры карабкаются по отвесным кручам и лезут на стены.

А ты их — бах! — получите в лоб — и они кубарем летят в воду.

Это жук-дровосек, чудом здесь оказавшийся, получил от тебя по башке и кувыркнулся в воду.

Через секунду его становится жаль, и ты ищешь пруттик, который должен возникнуть у него перед носом, чтоб он смог вскарабкаться на борт.

А еще от нас доставалось майским жукам и бронзовкам — мученики — их привязывали за лапки, сажали в спичечные коробки.

Обессилевшего жука мы прощали, и он выпускался под честное слово не вредить сельскому хозяйству.

Дамба шла на остров Артем — так его называли в честь легендарного, революционного героя, на что нам, как оказалось, совершенно начхать. Любого героя мы запросто меняли на один день купания и лежания на камнях.

С двух сторон дамбу подпирали валуны. На них во время шторма выбрасывало водоросли, которые моментально высыхали и превращались в сено.

В него можно зарыться. Оно пахло йодом, летом, жарой и свободой. Мы втыкали его в плавки и превращались в папуасов. Мы орали и ныряли со скал. Мы скакали, выли, вопили, ходили колесом, стояли на руках и на голове.

Мы рисовали на щеках и лбу полосы синей глиной. Мы делали копья и кидали их в волны, а потом ныряли.

На глубине было тихо. Где-то там, наверху, виднелась блестящая поверхность воды и солнце. Под водой хорошо. Под водой хотелось жить.

Под водой пропадали страх и ненависть, не мучило одиночество, не терзала печаль.

Я это где-то читал.

Наверное, у Жюль Верна в «Капитане Немо».

Ах, Жюль Верн! Он виноват в том, что когда-нибудь у России появятся самые большие в мире подводные корабли.

Лагерь

Летом мама отправляла нас в лагерь. Слава Богу, не на три смены подряд. Одного моего знакомого отправляли на три, и на всю жизнь он остался заикой.

Это лагерь принадлежал все той же киностудии «Азербайджанфильм» — забор, песок, беседки для разучивания песен, песни: «Хотят ли русские войны — спросите вы у сатаны», и еще нечто-то подобное.

Я-то еще мог сделать над собой усилие и выучить куплет. А братья долго морочили всем голову, заявляя, что они «плехо говорят по-русски».

Там на завтрак давали остывшую манную кашу. Я честно пытался ее протолкнуть во внутрь, преодолевая рвотные позывы. Там еще с утра предоставляли возможность съесть масло, хлеб и чай, пахнущий хозяйственным мылом.

Отхожее место с выгребной ямой, а утром — построение на физзарядку.

Еще линейка и мытье ног на ночь, поскольку все ходили босиком.

Два раза в день водили на пляж — гуськом и с песнями. Там купание по свистку.

Плывать можно только по пояс — стояло оцепление из вожатых. Пять минут — и бегом из воды.

Господи, как мы страдали. Мы — воспитанные, как беспризорные выдры.

Братья во время мертвого часа линяли через забор и пару часов жили жизнью Геккельбери Фина.

Они всем казались маленькими ангелочками и на них обращали мало внимания.

За мной следили больше.

Многие в лагере тут же поплатились за то, что они считали Серегу с Валеркой чересчур слабыми.

Как-то ко мне вдруг пристал какой-то парень. Он изводил меня тем, что при девочках пытался меня шпынять.

Я стеснялся прекрасного пола — он, то есть, пол, был в одних трусиках и его стройные ноги лишали меня значительной части моего огромного мужества.

Братья возникли в самых разгар издевательств. Серега с пол оборота понял в чем суть и плюнул ему в волосы ворованной шоколадной конфетой. Потом он тщательно ее раздавил и радостно сказал: «До вечера так ходи!» — и чудо! — парень с готовностью кивнул.

У меня не хватило слов.

А потом мои дражайшие братья оказались замешаны в снятии трусов на спор с легковых пионеров и в катании на матрасах, сложенных горкой на складе, куда они проникали через плохо закрытую дверь.

Матрасы складывались один на другой и по ним можно было кубарем скатываться.

И еще они лазили на громадное инжирное дерево. Считалось, что инжир вызывает понос.

Они жрали его тоннами, пытаясь его у себя вызвать.

Потом они объели весь тутовник лучше, чем тля. Потом залезли на соседнюю бахчу.

Как-то на линейке вывели перед строем нашего золотухродого Валерку, похожего на беременного амура: это у него за пазухой лежала большая добыча — зеленый виноград.

Его долго стыдили, потом задрали ему майку и оттуда посыпалось, как в солододавильню.

«Больше так не делай!» — сказали ему.

«Хорошо!» — сказал он и через двадцать минут полез на бахчу.

Вечером в старших группах организовывались танцы под аккордеон. Девочки жались к пионервожатым, мы сидели на лавочках. Мои братики уже поймали некоторое количество медведек и теперь решали когда, и как их запускать к девочкам — те спали отдельно.

Медведки махали своими страшными лапами, пытались освободиться. Братья уговаривали их потерпеть.

Они норовили выскрести им ладошки, и потому их сажали в полотняные мешки, для хранения фруктов, привезенных родителями.

Фрукты исчезали почти сразу — вот на их место и сажали медведек.

Девочки нас не разочаровали. Небольшую тренировку бедлама мы провели прямо на танцах, подбросив самую нетерпеливую медведку вверх.

Крик старшей пионервожатой явился слабым подобием того истерического вопля, который перед сном исторгли девочки.

Сергея улыбнулся и ночью еще вымазал всех зубной пастой.

Рыбки

Первая наша рыбка была золотой. Мы ее поймали в пожарном бассейне киностудии. Там их видимо невидимо. Одна зазевалась, и ее зачерпнули ведром.

Ее пустили в тазик, и она нарезала в нем круги, совершенно не утомляясь.

Потом папа принес аквариум, и ее запустили туда.

Мы накупили много рыбок: озорных гуппи, нетерпеливых меченосцев, неутомимых барбусов, неторопливых петушков, любопытных гурами, злых макроподов и умных цихлид.

В новом аквариуме рыбки резвились, но, время от времени, их надо кормить, и начались мои походы за дафниями.

В степи, рядом с нефтеперегонными заводами, разливалось множество всяких луж и озер. Некоторые из них отличались достаточной глубиной. Там и водились дафнии — водяные блохи. Их-то я и ловил сачком и пускал в банку.

Дома я промывал добычу под струей воды и запускал в аквариум. Рыбы хватали их, как сумасшедшие.

Зимой можно было кормить сухим кормом.

Когда я менял им воду, рыбки радовались, и это было видно — вся семья собиралась посмотреть.

Они росли. Гурами и меченосцы даже рожали живьем, а задумчивые цихлиды пожирали их неразумное потомство.

Петушки искали противников по всему аквариуму и, найдя, устраивали турнирные бои. Они раздували жабры и плавники, и еще раскрашивались в синие и фиолетовые цвета.

Они обожали зеркало.

Я ставил зеркало вплотную к стеклу, и они видели в нем своего противника. В этом случае с петушками случался припадок бешенства. В ярости они кидались на стекло и долбали своего врага. Барбусы тоже были недовольны чужой стаей, идущей на таран, и сворачивали только тогда, когда всем становилось ясно, что чужаки не боятся столкновения в лоб.

Гурами ощупали противника усами, макроподы ткнулись в него мордами, а цихлиды подошли, все поняли и отошли.

Однажды один из гурами выпрыгнул из аквариума. Он пролежал несколько часов и высох, как вобла.

Я наткнулся на него совершенно случайно, схватил и бросил в банку с водой просто так, инстинктивно, из желания чем-то помочь.

Как же я удивился, когда через полчаса нашел его абсолютно здоровым.

Оказывается гурами и все остальные лабиринтовые рыбы — те самые, что время от времени, хватают с по-

верхности немного воздуха, могут в какие-то моменты обходиться без воды.

Они высыхают, но стоит только им попасть в воду — оживают безо всякого для себя вреда.

А макроподы у меня метали икру. Летом в трехлитровой банке. Самец построил гнездо из пузырьков, скрепленных собственной слюной, а потом долго ухаживал за самкой.

При этом он не забывал раскрашиваться в праздничные цвета и усиленно питаться: дафнии, мухи, комары и дождевые черви, падающие сверху, были обречены.

И еще он нападал на все, что, по его мнению, угрожало гнезду: на сачок, на палец.

Я перезнакомился со всеми ловцами дафний. Они ловили их огромными сачками, а потом сушили на солнце, намазывая на марлевые полотнища, которые, как плакаты, развивались на двух палках, воткнутых в песок.

Это дело не отличалось особой безопасностью: в лодках состояли люди разные, и от них вполне можно было просто так получить по шее.

Поначалу я держал дистанцию.

Это потом, когда ты несколько раз встречаешь одного и того же человека в безлюдной степи, с ним можно поздороваться и то только тогда, когда по глазам видно, что это не возбраняется сделать. А через много-много встреч допускается какая-либо незначительная фраза и то, после того, как в озерце обнаружено много дафнии и человека это радует.

И еще: издали же видно доброжелателен к тебе человек или нет.

Ловцы дафний — одиночки. Они всегда одеты в брезентовые плащи и болотные сапоги.

Они неповоротливы, и убежать от них легко.

Но в основном все вели себя деликатно — дафний на всех хватало.

Лишь однажды я совершенно неожиданно получил затрещину. Это был не ловец, а огромный верзила, решивший искупаться. Подобрался со спины, и я тут же полетел кувырком на землю.

Было не столько больно, сколько обидно: на меня еще не нападали взрослые. Он пнул мою банку и стал неторопливо раздеваться. Потом пошел в воду, а я плакал от обиды и бессилья.

Я пришел домой и рассказал отцу, и он пошел со мной выручать мою банку.

Мы пришли на то место и там кто-то плескался, но вот незадача, оказалось сильная обида способна стереть из памяти лицо нападавшего.

— Он? — спросил отец.

— По-моему, нет! — сказал я, с тем мы и ушли.

Эгоист

Так меня назвала математичка после того случая, помните, когда я подвел весь класс, уехав на дамбу.

Слово меня обидело. И потом оно было не очень понятно.

Я спросил у отца.

— Это человек, думающий только о себе, а не об окружающих, — сказал отец.

Я решил, что ко мне это не относится, потому что я думал о братьях, о бабушке, о маме с папой, о котиках и о рыбках.

Потом я думал о своих друзьях.

Я у всех спрашивал, похож ли я на эгоиста и все отвечали, что нет.

Только меня это не удовлетворило, потому что я вспомнил массу случаев, когда я ел конфеты и не делился с бабушкой. Валерка делился, как я уже говорил, а я нет. Наверное, он действительно не эгоист, а я, все-таки, немножечко да.

— Бабуля! — спросил я ее в пятидесятый раз. — А если я не делюсь конфетами, это нехорошо?

— Чего ж хорошего?

— Да нет, ты не понимаешь. Да, то, что я, помнишь тогда, не поделился, — это нехорошо. Но потом я пять раз делился. Как ты считаешь?

— Наверное, это хорошо.

— Ах, бабуля! — вздыхал я и чувствовал, что она меня не понимает.

Про себя я решил, что теперь буду обо всех думать.

Особенно об окружающих. О Тане Погореловой, например. Я украдкой стал смотреть на нее на уроках и думать.

Но лучше у меня получалось думать о Юрке Максимова. Все-таки, он мне друг.

С ним мы ходили в степь.

Степь

Степи теперь нет, а тогда — сколько угодно. Огромная, таинственная — камни, ковыль, лощины.

Даже пещеры — в них в жару хоронились прохлада.

И проломы — это когда в земле вдруг обнаруживается щель, скрытая разросшейся сурепкой, а в нее опустился и перед тобой возникает узкий лаз, стены которого выложены камнями, и начинается он неизвестно где, и ведет неведомо куда. Только ночные гекконы спешат исчезнуть в расщелинах, а и тебе становится не по себе — скорей отсюда.

Там можно натолкнуться на змею — гадюку или гюрзу.

Отец однажды убил гадюку, содрал с нее шкуру и одел на палку.

А мне жаль стало ее, она так быстро текла по дорожке и между кустарниками — залюбуешься. Красиво и сильно.

Однажды в степи мы ее встретили — бежали с Юркой быстрее козы.

А как-то видел отдыхающую старую гюрзу. Почти двухметровая, толстенная. Она грелась на солнце и одним прыжком ушла под камень при нашем полном оцепенении.

Я никогда не думал, что змеи способны на такое. Те, что сидят в зоопарке, не вызывают священный трепет, а те, кого я встречал, вызывают — их движение — это страх и восторг, ужас, дрожь в коленях.

Они стремительны — успеваешь только замереть. Исчезла змея, и сейчас же крики, визг, сердце выпрыгивает из груди.

Там еще лазили ящерики. Этих мы ловили, а потом, наигравшись, отпускали на волю. Жуки, муравьи, скорпионы, фаланги, пауки-каракурты.

В степи надо смотреть под ноги, чтоб не нарушить течение чьей-либо жизни.

В степи мы вели всякие разговоры. Юрка знал от старшего брата как происходит зачатие, это его чрезвычайно волновало, он рассказывал мне, и мы с ним обсуждали устройство и функционирование. Я высказывал сомнения, потому что то, что рисовал на песке Юрка... в общем, какое-то оно получалось не такое что ли...

Когда Юрка рассказывал о минете, у него в глазах стоял ужас. К слову, мне тоже было не по себе.

Да и все остальное выглядело совершенно не аппетитно.

Нам было лет по одиннадцать, и мы решили, что все это чушь.

Степан Разин

Мы ходили в пещеру Степана Разина. То, что пещера принадлежала этому народному герою, конечно, полная ерунда, но мы верили. Недалеко от поселка Разина располагалась гора, а ней — дыра. Внутри довольно просторное помещение, высокий потолок, а узкий лаз вглубь завален.

Я много слышал о Разине: и какой он справедливый, и как убивал только богатых, — только мне княжну было жалко.

Я спрашивал у родителей зачем он ее выбросил. Отец говорил, чтоб не мешала революционной борьбе, но по лукавинкам в его глазах я учуял, что что-то не так, а мама вообще не понимала при чем здесь моя жалость и тогда я решил спросить у бабушки.

Но бабушка знала только песни о Разине и с удовольствием их пела, а когда дело доходило до «бросания в волны» голос ее звучал как-то особенно страстно.

У бабушки я сочувствия княжне не нашел. Хотя она считала, что в этом конкретном случае Разин немного погорячился, а потом очень долго страдал на различных утесах — их на Волге полно.

В той пещере мы с Юркой пытались разобрать завал и пролезть вглубь. Ничего не вышло — камни оказались слишком тяжелыми. Нам хотелось проверить дойдет ли этот лаз до моря. Говорили, что доходит.

После пещеры и степи очень хотелось есть, и по дороге домой мы выкапывали и ели какие-то корешки — Юрка говорил, что они вкусные, — а дома нас бабушка кормила жареными макаронами — они еще здорово хрустели.

Она любила кормить и готовить — все свободное время проводила в походах на рынок и магазин.

Мы ели сыр с хлебом и маслом — это такая очень соленая брынза, начисто лишенная каких-либо признаков жирности.

А еще жарилась молодая картошка. Она жарилась целиком, вместе с кожурой, которая немедленно становилась золотистой. Серега любил картошку и мог есть ее каждый день.

А огурцы запускались в ванну, где у нас вода хранилась, и они там плавали верткими тюленями или же бревнами. А мы шипели и пыхтели, залезая в воду по локоть, замачивая рукава рубах. Мы играли с этими бревнами и тюленями, и они у нас выпрыгивали из воды, летали по воздуху и с высоты снова бултыхались.

— Оставьте огурцы в покое! — кричали нам и мы говорили: «Сейчас!»

Потом огурцы шли в дело. Их разрезали, солили в середине и обязательно терли две половинки друг о друга. У них внутри стройными военными рядами размещались большие, зрелые семена, а сами огурцы длинные и толстые, как французские бутерброды.

Джанаб

Мы жили на последнем пятом этаже. Под нами жил Джанаб. Когда мне исполнилось одиннадцать, ему стукнуло восемнадцать, и он запросто мог ни с того ни с сего со всего маху ударить тебя ногой по задку. Он казался огромным и страшным. Страх перед ним не позволял даже думать о том, что можно пожаловаться взрослым.

У Джанаба были младшие братья и сестры, старушка мать и лысоватый отец. Все они жили в такой же двухкомнатной квартире, что и мы, но нас — шестеро вместе со взрослыми, а их — человек десять.

А рядом с нами на лестничной площадке жили Тофик и Равиль с сестрами. Сестра Донара все время смущалась при встрече со мной, хотя она была старше на пять лет. А с Равилем мы дрались. Сначала он меня побил, а через год — я его. Тофик был двумя годами старше. Однажды в каком-то походе по стройкам он показал нам, как у него вырос член. Мы все смеялись, а он был очень горд.

С Тофиком у нас вражды не было. Только через много лет, он, накурившись гашиша, схватил меня за руку на

лестнице. «А... э... ты!» — сказал он. Я не испугался, хотя он мог ударить и ножом. Я был уже на голову выше и сильнее. Я разжал его руки, и тут же выскочили и закричали все его родичи — они его очень боялись.

Потом его увели, а передо мной извинились.

Все это было непривычно.

Джанаб тоже стремительно помельчал, поскольку к десятому классу я сильно вытянулся, а потом он и вовсе умер — неожиданно, неизвестно от чего — его мать сидела на полу, что-то напевала, завывала, раскачивалась, волосы во все стороны.

Кроме Джанаба меня — маленького — во дворе преследовало несколько человек. Серега еще не подросток, и они не давали прохода. Один из них — Джаффар — старался особенно.

Сейчас я его понимаю — я не походил на них, да и не хотел на них походить. У меня на голове сидела фетровая шапочка на манер цилиндра, и она не могла не раздражать. Задирали он меня только тогда, когда их собиралось несколько: два или больше.

Один раз пустили мне вслед снежок. Их было двое. Я повернулся, подошел и сказал, глядя в глаза: «Ну что, сволочь!» — но они не напали и только, когда я отошел далеко, полетело: «Мы тебя еще поймаем».

Взрослые не лезли в наши дела. Как-то, когда при отце меня ударили, а он не вмешался, я понял, что должен рассчитывать только на себя.

Однажды я дрался. Мальчишка тоже не давал мне прохода, но только тогда, когда вокруг было человек шесть. Я его отловил один на один, но драка получилась шумной: я его здорово бил.

Налетели взрослые нас разнимать. Прибежал его отец. Он отводил меня рукой в сторону и придерживал, по-русски говорил: «Перестаньте», — а ему, стоящему со спины, потихоньку: «Вурур она!».

Я тогда понимал по-азербайджански. Это означало: «Бей его!».

Я смотрел ему в глаза сначала недоуменно — как же так можно, а потом со злостью.

С тех пор не очень-то верю в любые переговоры на Кавказе. «Вурур она» я еще не забыл.

Тетя Роза

Она жила рядом на нашей площадке. У нее — огромная трехкомнатная квартира, муж на Севере и два сына.

Сыновья старше меня на шесть-восемь лет. Один из них стал артиллерийским офицером, другой — младший — уехал на Север и там женился, остался. В моем детстве он приходил к нам и с нами возился. Пожалуй, он нас больше мучил, но мы были не против — то и дело к нему приставали, а он нас хватал и тискал.

Муж у тети Розы все время служил. Он представлялся таинственной личностью, военным моряком и его звали дядя Володя.

И вот тетя Роза прознала, что у дяди Володи там, на краю карты, обнаружилась баба. Она собралась, поехала туда на край, набила бабе морду и увела от нее дядю Володю. Так рассказывали на нашей кухне.

Потом дядя Володя перевелся в Баку, и я его увидел. Красивый человек с ясным взором, с хорошо поставленной речью. Рядом с ним тетя Роза выглядела домашней работницей.

Говорили даже, что он писал книги.

Когда умерла бабушка, на поминках, где собрались все соседи со двора — повзрослевшие друзья и враги, он с чувством сказал несколько слов. Он сказал: «Это был удивительный человек. Никогда ни на что не жаловалась и

ни о ком никогда не сказала ни одного плохого слова», — и его голос от волнения сорвался.

Я знал, что у нас бабушка — святая, а теперь выходило, что и все остальные про это тоже знали.

Скрипка

В девять лет мама отдала меня на скрипку. Мне сшили подушечку под щеку, меня снабдили смычком и канифолью. Я натягивал на нее матерчатый футляр и шел в музыкальную школу, где меня обучали еще и игре на фортепьяно. Идти далеко, через пустырь, мальчишек и через дорогу, и можно было получить по шее или удар в спину только за то, что у тебя в руках скрипка.

А когда у тебя скрипка в руках очень трудно отбиваться.

Школа высокая и таинственная. Множество неожиданных звуков, где-то за стеной — обязательно слышится пианино, отчего становится прохладно коже.

У нас не было дома пианино, и для тренировки я должен был играть на длинной бумаге — на ней нарисованы клавиши. Я бил по ним пальцами и представлял про себя звуки.

Как Буратино. Почему-то мне подумалось, что это похоже на историю с нарисованным очагом.

Там я играл «Сурка». Там все играли «Сурка».

Скрипичный ключ и сольфеджио. Все это умерло само собой. У меня не обнаружилось слуха.

Во всяком случае, так говорил учитель.

Эта скрипка до сих пор у меня. У нее только две струны и она без смычка.

А слух нашли у Сереги — у нас в доме появилось пианино. Это стоило много денег, а ему много лет жизни. Он окончил консерваторию по классу фоно. Здорово играл Баха.

Магазин

С десяти лет я ходил в магазин. За маслом, за сыром, за сахаром, хлебом. Остались позади времена хрущевских очередей, когда мы, вместе со взрослыми, пропадали в них с четырех утра. Люди молчали, но чувствовалось волнение разлитое в воздухе — вдруг не достанется. Двери хлебного магазина открывались — начиналась давка, кто-то лез без очереди.

А потом все наладилось. В магазине никого и хлеб стоял, лежал — белый, серый — огромные буханки. И еще плоский, круглый чорек. Его хорошо разрезать и положить туда масло. Со сладким чаем — одна сплошная красота и слюни.

Надо было идти и считать деньги: двести граммов масло, кило сахара, чай за пятьдесят две копейки, который любила бабушка, потому что он самый душистый, — она его томила на плите на специальной железной подставке на маленьком огоньке и надо было следить, чтоб чайники всплыли и образовали плотную шапку, — потом сыр двести грамм, докторской колбасы двести и сдачу — ее ловко не давали.

А с маслом обвешивали, потому что на весы клали бумажку, а потом ее не учитывали.

Я, когда подрос, говорил им: почему не учитываете бумажку, а когда был маленький робел так сказать.

А бабушка меня все время пытала: сказал, чтоб не учитывали бумажку, и я врал, что сказал.

А однажды рубль потерял — вот слез-то было.

Собачий ящик

У нас во дворе жили собаки. Самые обычные дворняги. Они охраняли двор и поднимали страшный лай, если входил кто-то чужой.

Нас они обожали. Мы вытаскивали у них клещей.

Их надо было тащить осторожно. Собак скулили, но терпели — знали, что мы им помогаем.

Они жили в щели, под трансформаторной будкой. Там же рожали щенят — маленьких, толстых, смешных карапузов.

Мы с ними возились. Это доставляло и собакам, и нам огромное удовольствие.

Однажды кто-то вызвал собачий ящик. Так назывались ловцы дворовых собак.

Мы потом узнали кто это сделал — была одна скандальная тетка, ее не любил весь двор.

Собачий ящик въехал к нам на рассвете. Все проснулось от лая, визга, ударов. Они били собак ломами.

А кутят — за ноги и об асфальт. Все было в крови.

И двор вышел. Женщины, с детьми. Дети рыдали в голос. А женщины пошли на собачий ящик с палками и камнями. Даже та, что вызвала, тоже шла.

Потом в наш двор долго не забегали собаки.

Базар

Базар, что солнце, без него — никак.

Бабушка приходила с базара счастливая, если ей удалось что-то дешево купить.

Она отдыхала на каждом этаже — лифта в нашем доме не было.

На базаре все гроздьями, клубнями, навалом — сердечки абрикосы, персики, алые, как щеки обжоры, груши, черешня, слива.

Бабушка делала варенье. В эмалированных тазах — абрикосовое, сливовое, вишневое.

Черешня — обязательно белая, из нее шпилькой вынималась косточка и вместо нее в каждую ягодку перед тем, как варить, вставлялось сладкое ядрышко абрикоса.

Бабушка говорила, что лучше всего варенье варится в медном тазу. В нем оно особенно вкусное.

Так варили варенье в годы ее молодости.

А у бабушки была молодость — она работала швеей. Но это после революции. А в семнадцатом году ей было семнадцать и, поскольку революция шла до Баку три года, она еще успела застать гуляния в губернаторском саду под звуки духового оркестра и офицеров, и нарядных барышень с зонтиками от солнца.

У моей бабушки были подружки. На старой фотографии видны две девичьи головки, пухленькие смеющиеся лица. Бабушка их называла: «Кумушки».

Они писали друг другу письма и открытки. Они тогда назывались «открытое письмо». Адресовали так: «Марии Ивановне, мадемуазель Бабахановой». «Мадемуазель Бабахановой» тогда было десять лет. Они писали письма на русском и армянском, но, все больше на русском языке.

Странно сегодня держать их в руках: через столько лет от этих строк все еще веет любовью, дружбой, участием.

Они были очень дружны, дети моей прабабушки.

Такуи

Маму моей бабушки звали Такуи. Она родом из Шемахи и очень богатая. Они Егановы (Еганбековы). Моя мама говорила, что они были беки. А жили в Шемахе, потому что тогда она являлась столицей. И только после сильного землетрясения они переехали в Баку.

Прадедушка Иван, женившись на ней, подарил ей только свою фамилию — Бабаханов, а она ему — деньги.

Из этого союза ничего не вышло, потому что прадедушка Иван не даром денег не имел, как и весь его обедневший род. «В нашей крови соли нет», — говорила прабабушка Такуи, имея в виду анемичность прадедушки. Он не был способен даже к торговле, и средства таяли. И еще их ограбили — влезли через балкон на второй этаж и украли приданное прабабушки — целый сундук золота и драгоценностей.

Прабабушка Такуи подозревала в том воровстве свою свекровь: уж очень хорошо воры знали, где и что лежит. Перед армяно-тюркской резней, в 1905 году, она вывезла всех детей в Тифлис.

Свекровь сказала ей: «Ничего не бери. Все оставь. Возьми только детей».

Когда они вернулись, по всему двору были раскатаны рулоны тканей. Раньше ткани покупали не метрами, а рулонами.

Прабабушка, как только увидела эти волны материи, так и подумала: «Это свекровь!»

Потом прабабушка Такуи получила психическое расстройство и долго болела.

Отец прабабушки дал ей еще приданного, но сундук был гораздо меньше.

Прабабушку Такуи описал Александр Ширванзаде. Бабушка говорила, что Ширванзаде «постоянно ошился» в их доме. Его тетка — родная сестра прадеда Ивана, но к ней он ходил редко, потому что она сразу же начинала стонать, как только он появлялся на пороге. Тетка отличалась великой скупостью, и Ширванзаде своей неистребимой прожорливостью навевал на нее тоску.

А прабабушка Такуи его принимала и кормила, за что он описал ее в своих произведениях в самых восторженных тонах.

Тетку он не любил, и в тех же произведениях ей от него сильно досталось.

Бабушка с удовольствием его читала — у нас был двухтомник Ширванзаде — и как только доходила до описания своих родственников, начинала хохотать, потом она откладывала книгу и говорила, что Ширванзаде числился где-то «вечным студентом» и любил погулять с друзьями. Денег у него отродясь не водилось, но человек он был добрый и веселый.

Ее дети

У прабабушки Такуи родилось двенадцать детей. Шесть умерло при рождении. Шесть осталось. Это мальчики: Александр, Акоп, Нерсес и Арташес, девочки — Астхыг и Арусяк. Арусяк — моя бабушка и самая младшая.

Я узнал, что она — Арусяк — после ее смерти. На надгробном камне написали: «Арусяк». «Это настоящее имя твоей бабушки», — говорила мама. Отец звал ее Марьей Ивановной, потому что Арусяк — это Аруся, а где Аруся, там и Маруся, Мария.

Александр умер в двадцатом году от горловой чахотки. Он занимал пост председателя ЧК в Грозном, много выступал на митингах и убил много людей.

Акоп погиб на фронте в русско-турецкую в 1916 году. Астхыг работала в госпитале. В 1914 году она заразилась брюшным тифом и умерла. Она всегда покупала бабушке книги и всячески ее баловала. «У нее были книги Чарской, — вспоминала моя мама, — а дядя Арташ все подарил своим друзьям. И еще. Кто-то из них умер от сифилиса». — «Мама, — замечал я, — это Ленин умер от сифилиса» — «Ты полагаешь?» — «Конечно».

Астхыг хотела выйти замуж за одного латыша. Они любили друг от друга без ума, но прабабушка не разре-

шила — он другой веры, лютеранин и собирается жениться гражданским браком — что ж это такое?

Моя бабушка очень любила Астхыг. Она называла ее Асей. Она говорила: «Ася была очень несчастна!» — и плакала. Она всегда плакала, как только ее вспоминала.

Дядя Арташ умер от сердечной астмы в 1954. Он работал электриком в Маиловском театре, а потом инженером-нефтяником. Это был веселый человек, всегда готовый что-либо отпраздновать.

«А они думают, что Маилов — их персюк, — говорила мама, — а он армянин, нефтепромышленник и наш дальний родственник и дед Александр у них на промыслах работал, пока в революцию не полез. Они его выгнали на инженера».

Выгнали, прикормили, приласкали, а он полез. После революции они уехали в надежде, что это все ненадолго.

Тогда многие уезжали, считая, что все это ненадолго.

В Баку жили Маиловы, Нобели, Ротшильды — все нефтепромышленники. Они построили в Баку много домов.

Александр остался и перестрелял кучу народа. «Он был в Грозном, как Шаумян в Баку», — говорила бабушка не без некоторой гордости, из чего я сделал вывод, что Шаумян тоже погубил немало людей.

В 1916 году уехала сестра нашей прабабушки. На старой фотографии женщина в армянском костюме — это она. Рядом еще одна женщина, гораздо моложе, и двое детей — мальчик, девочка. Они уехали то ли во Францию, то ли в Америку — никто не знает.

А та женщина на фотографии в армянском костюме — вылитая моя бабушка.

Дом в Баку

Бабушкина семья жила в Баку на улице Торговой дом 9. Большой, каменный, двухэтажный дом. Он был проходной. Через арку можно было выйти на Льва Толстого. В мои времена во двор этого дома выходили люди после сеанса в кинотеатре «Вэтэн».

«Вэтэн» — по-азербайджански «родина».

Еще маленькой девочкой моя мама, подглядывая через деревянные жалюзи, смотрела там фильмы по сто раз подряд.

Через этот дворик во времена молодости моей матери бегали беспризорники. Они воровали на соседней улице, а смывались через двор. В те времена много воровали. Водились даже знакомые, взрослые воры-карманники, которые воровали только у незнакомых, а знакомых не трогали.

На той стороне улицы Торговой — напротив «Вэтэна» — где располагалась крохотная немецкая кондитерская — чудно пахло, просто на всю улицу, и беспризорники там всегда паслись.

Они и у моей мама — маленькой, шустрой девчонки — вырвали из рук кошелек, а однажды выхватили коробку с пирожными, ей бабушка купила десять пирожных, которых тут же не стало.

«Хорошо, — сказала бабушка, — я куплю тебе еще. Только десять уже не смогу, смогу только шесть».

Беспризорников никто не ругал.

Относились к ним, как к необходимому злу.

И еще их очень жалели.

Они были грязные и худые.

Они жили под домом, в подвале. Там стоял большой котел, в нем варили кир для покрытия крыш, и они у него грелись зимой.

А моя мама уже во взрослом состоянии, в Ленинграде, прогуливаясь с моим папой, несущим буханку хлеба, все опасалась, что ее вырвут из рук. Все говорила: «Как ты несешь! Сейчас же вырвут!» — на что он говорил: «Да что ты! Никто не вырвет».

На втором этаже

Бабушкина семья жила на втором этаже.
На первом располагались евреи.
Бабушке принадлежало много комнат.
Некоторые из них совсем не имели окон.
Зато у них сверху находился большой световой фонарь — это красиво.

Прадедушка Иван не мог жить с семьей по причине болезни прямой кишкой и того, что он работал на рыбных промыслах. Он присылал домой осетров. Их с удовольствием поедали.

Поступало много и другой рыбы, например, кутума.
Жили они зажиточно, держали домработницу.

Потом, после революции их уплотнили, сначала оставили им только четыре комнаты, а потом — две, и дом стал обычной коммуналкой.

Подселили Громовых, Измаиловых, Гуслецовых.

Громовы все время болели, про Измаиловых никто не вспоминал, а Гуслецовы жили рядом в общем коридоре.

Гуслецов-старший — Марк Захарыч — работал в Баксовете. Его жена, тетя Ева, все время грелась, стоя над керосинкой, поставленной на пол. Она стояла над ней, широко расставив ноги.

И еще она всегда запирала колеты в буфет на висячий замок, «чтобы Гришка не слопал». Гришка — ее

старший. Он оттягивал створки буфета и дотягивался до котлет.

И еще он издевался над младшим Левкой.

Тетя Ева и Марк Захарыч привязывали Гришу за руки к спинке кровати и били: за колеты и за все, за все, а он кричал: «Это, наверное, Катерина съела!» — от чего тетя Ева сходила с ума. «Катерина?! — кричала она. — Катерина?!» — и больше она ничего не могла сказать, у нее не получалось.

Однажды к ним пришла нищенка. Немка из Еленинсдорфа. Под Баку располагалась немецкая колония под таким названием. Ей нечем было кормить детей. Она ходила и просила. Русского языка она не знала, объяснялись знаками. Позвали тетю Еву, она говорила на идиш, и та ее понимала.

Бабушка подарила ей много вещей, а потом спросила: «Ты можешь помыть нам пол? А я тебе заплачу». Так появилась Катерина, аккуратнейшая прачка и честнейший человек. Она мыла полы и стирала. Бабушка говорила, что так, как стирала Катерина, так никто не стирал. Она стирала, сушила, гладила. Белье становилось белоснежным. Она приходила, бабушка ей оставляла ключи, она сама брала мыло, соду, бак для белья, стирала, мыла пол, потом она ела: бабушка оставляла ей еду, накрывала ее полотенцем.

Вскоре Катерина совершенно преобразилась: очень прямая, всегда опрятная, чистая.

Она всем стирала. Она стирала и у тети Евы, там она тоже кушала, ее кормили. Она хорошо стала жить. Она стирала всем родственникам тети Евы. Всем евреям. «А евреев был целый гарнизон, — рассказывала моя мама, — ты знаешь, сколько у евреев родственников?!»

Во время войны Сталин выгнал всех немцев из Баку. Уехала и Катерина. Бабушка все время говорила: «Как же там Катя?»

Бабушкины комнаты

Бабушкины комнаты выходили на северную сторону. В них царил полумрак.

Широкие стены сохраняли прохладу душными летними днями.

Зимой было холодно, топили печки.

Высокие пятиметровые потолки, стены, частью затянутые шелком, кое-где гобелены, спальня, трюмо, китайская ширма, диван с гнутыми ножками, буфет орехового дерева, столы, стульчики, пуфики — масса безделиц — бюро. Оно нравилось мне больше всего. Множество ящичков. Внутри — зеленое сукно. Потайные отделения. Пресс-папье. Фарфоровые собачки, бронзовая собака, костяные ножи для разрезания бумаги, какие-то щипчики, палочки, ложечки — и всякие такие вещички для спокойного существования.

Все эти свидетельства былой цивилизации лезли на глаза — ножики, ножечки, ножульки, щипцы и щипчики.

А нажмешь в том бюро что-то незначительное, и придет в движение скрытый механизм со звоном и откроется тайное.

В тайное клали деньги и золото.

А по всему буфету шла деревянная вязь из цветов, птиц, растений. Можно было пальцем повести по крыльям, листьям и цветам и, не отрываясь, обойти весь буфет.

А какая посуда — английский фаянс, немецкий фарфор, много чашек и столовое серебро.

Тихо, как в музее.

Вышел из комнат — попал на деревянную, пропитанную солнцем и голосами веранду — ее называли галереей. Там стоял длинный стол, а на нем горшки с цветами. Дети играли здесь в войну, делали пещеры, палатки, дрались. Моя мама была Гришу Гуслецера за то, что он бил своего маленького брата Леву.

Моя мама была старше Гриши. Она говорила, что он рос мерзким ребенком — плевался кашей.

Гриша очень плохо учился. Тетя Ева прибила над дверью большой гвоздь и вешала на него его ведомость с отметками. Потом она звала всех: «Соседи! Дети, посмотрите, как наш Гриша учится!»

У него были одни двойки.

Потом Гриша закончил два института.

Прабабушка Такуи умерла в 1930. Властная женщина, она командовала своими детьми, как генерал войсками. Дома между собой они говорили только на армянском — она очень за этим следила.

Нерсесу она запретила идти в артисты, а он здорово играл в домашнем театре. Потом он женился на тете Гале, а моя бабушка второй раз вышла замуж, и ушла жить к мужу, чтоб не мешать дяде Арташу жениться. Она его очень любила. Она вообще всех любила.

Прабабушка Такуи не давала моей бабушке свою швейную машину. У нее был «Зингер».

Тогда бабушка отнесла свое личное золото в Торгсин и на вырученные деньги купила собственную швейную машину. В те времена на работу принимали со своими швейными машинами. Она стала швеей. А потом она стала начальником швейного цеха.

А во время войны она записалась добровольцем рыть окопы. Она считала, что она должна показывать пример. Они рыли окопы на подступах к Баку. В горах. Осенью начались дожди и от сырости у нее распухли ноги.

А еще ей в ухо залез какой-то жучок.

«У меня в ухе жучок, — говорила врачу моя бабушка, — у меня такой шум там, и жутко болит голова».

А ей не верили, думали, что она уклоняется от работы.

Когда врач надел на лоб зеркало и направил свет в ухо, оттуда действительно вылез жучок. Все поразились, и бабушка вернулась домой.

Через много лет она получила медаль «За оборону Кавказа».

А тетя Галя пришла в дом с одним пианино. Моя бабушка говорила: «У нее было одно пианино!». Пианино фирмы «Беккер», с подсвечниками. На нем училась моя мама.

Моя мама терпеть не могла тетю Галю, за то, что она вытеснила из дома бабушку.

О дедушке известно только то, что от этого весьма недолгого союза родилась моя дорогая родительница и еще то, что когда маме было два года, бабушка его выгнала за то, что он «шлялся», то есть, обожал женщин.

Он кричал с галереи: «А-фи-на!» — Афина жила внизу — кроме евреев, там жила еще и Афина, которая и «шлялась» вместе с моим дедушкой.

Имелся в наличии еще и дядя Гриша из Москвы. Он обожал мою мамочку. Он обожал ее баловать. Всегда давал ей денег, когда приезжал, и привозил подарки. Мою маму, подарками никогда не баловали, и она очень ждала этих приездов дяди Гриши. И ее подруги очень ждали, потому что деньги они проедали вместе. «Когда же придет твой дядя?» — говорили они.

Дядя Гриша носил фамилию Гянджинцев, был родней со стороны бабушки и работал «по художественной части». Во время войны он летел в Баку на самолете. Самолет упал, дядя Гриша выжил, но жил только шесть месяцев. Семьи у него не было, только брат Шаэн, и он всегда говорил: «Вот Томуся закончит десять классов, и я заберею ее в Москву, будет там в университет поступать».

Он всегда привозил своей любимой Томусе очень дорогие подарки: детскую тахту, на которой не только куклы, но и она могла спать, зонтик.

Это был матерчатый зонтик от солнца. Она помнит о нем до сих пор.

Однажды он дал маме двадцать пять рублей и сказал, чтоб она угостила своих подруг мороженым — рядом с

кондитерской на Торговой размещалась мороженица. Там продавали мороженое «лизунчики» — мороженое, зажатое между двумя крышками-вафельками. Можно было заказать эти крышечки со своими инициалами.

Там они купили мороженое-сэндвич: мороженое сло-ями с вафлями. Только выпли из магазинчика, как мороженое с ослепительной быстротой исчезло сначала из рук маминой подруги — мама только успела у нее спросить: «Как ты так быстро съела свое мороженое?» — а потом и у нее — «Вот так я и съела!» — беспризорники постарались.

К тому времени, когда появились мы, у бабушки уже не было никакого дедушки, а из родственников в живых остался один дядя Нерсес, про остальных мы ничего не знали, нам про них только рассказывали.

Дядя Нерсес к нам иногда приезжал. Вместе с тетей Галей. Он уже пребывал на пенсии. В свое время он работал заместителем министра мясной и молочной промышленности, не воровал и жил все в той же коммуналке.

Ему сделали операция на голосовых связках, и потому говорил он очень тихо, с трудом. Наша возня его забавляла. Он мог часами на нас смотреть. Своих детей у них не было — тетя Галя берегла себя.

Так говорила моя мать.

Потом тетя Галя все продала. Она продала пианино. Мама просила ее продать пианино ей, но она сказала: «Нет! Ну, как я могу тебе продать?» — и продала другим. А мама любила это пианино.

Тетя Галя много чего продала. Исчезли картины: на стене гостиной висела очень приличная копия Айвазовского «Девятый вал», и натюрморт с персиками. Персики мохнатые, как живые.

Так странно: все в доме продала женщина, которая пришла с одним пианино.

Через много лет, когда умерла бабушка, и дяди Нерсе-са давно уже не было в живых, я навестил тетю Галю. Она болела, у нее случилась «слоновья нога».

Она улыбнулась, и я тогда ей сказал, что она хорошо выглядит. «Да?» — сказала она с видимым удовольствием. Этого хватило, и вскоре она умерла.

Моя мама

Моя мама в своем собственном детстве более всего походила на настоящего бесенка — от нее доставалось всем.

И еще она пела. На всю улицу. Мыла окна и пела.

Она занималась вокалом.

А до этого — музыкой с шести лет в музыкальном комбинате: там дети, естественно, пели, плясали, учили сольфеджио.

А когда она пришла поступать на вокал и запела, завуч заволновалась, сказала, что они ее немедленно принимают. Она думала, что мама азербайджанка. А когда выяснилось, что она армянка, сказала: «Нет, девочка, прием уже закончен, приходи на следующий год».

Мама пришла через год и попала в класс к педагогу Зельдиной. Ей преподавал итальянец Карве.

Потом, уже, будучи пионервожатой, она не пользовалась рупором, считала, что голос у нее поставлен: «Четвертый отряд, стройся!» — сорвала себе голосовые связки, и о пении пришлось забыть.

«Хорошо, если вы вообще будите разговаривать», — сказали врачи.

В восьмом классе началась война.

Наша мамуся тогда училась в школе рабочей молодежи. Там мальчики уже сидели за партами вместе с девочками.

Мамочка слыла известной лоботряской, но перед экзаменами брала себя в руки и все сдавала на пять с плю-

сом. А за это переводили через класс. Пару раз ее перевели, а потом завуч Сусанна Ивановна, сказала, что она лентяйка и ее перестали переводить.

Моя мама очень любила Маяковского, за что ее любил директор школы Аркадий Моисеевич — ветеран гражданской войны без двух ног в коляске. Он преподавал литературу и не переносил тех, кто любил математику.

«Я знаю вас, жуликов, всех, — говорил он, — как свои пять пальцев на левой руке! — на левой руке у него было только два пальца: мизинец и большой, и он свои руки всегда путал. — То есть, на правой».

«Вы пришли сюда, чтоб тереться друг о друга!» — говорил он.

И вдруг он увидел, как Жора Геворкян, сосед моей мамы по парте, еле сдерживается, чтоб не рассмеяться.

«Геворков! Что вы тужитесь, как в клозете!»

Он любил слушать, как мама читает. У них в школе сколотилась агитбригада, они ездили по госпиталям. Мама читала Маяковского и недавно вышедшую в свет поэму Симонова «Сын артиллериста». Успех невероятный.

На уроках он ставил ей «пять».

— Садись! Пять!

Однажды он выстроил у доски человек десять: они не могли ничего существенного сказать об образе Фирса в «Вишневом саду» Чехова.

— Томасова! — поднял он маму, — Встань, девочка! Покажи этим оболтусам, как ты любишь литературу.

— Аркадий Моисеич! — мама не читала «Вишневого сада». — А я ничего не могу добавить к образу Фирса.

— Сядь!

Аттестат зрелости моя мамуля получила только благодаря Аркадию Моисеевичу — к этому времени у нее по техническим дисциплинам в школьных ведомостях стояли одни только двойки — после чего она поступила в университет на филфак.

И еще в тоже время она работала и в райкоме комсомола и пионервожатой в школе.

В райкоме они принимали активную молодежь в комсомол. Спрашивали: «Кто такой Сталин?» — и иногда в ответ слышали: «Мой отец!».

«Понятно?» — говорили райкомовские шепотом друг другу, а у вступающих, в тот момент, глаза были совершенно безумные.

Но с третьего курса ей захотелось в кинотехникум, — просто не мама, а нечто страшное, — и она укатила в Ленинград. Там она встретила моего папу, и через какое-то время он потопил ее в вечной беременности.

Больше она нигде не училась. Она рожала нас. Меня — первого.

Мама говорила, что я рос очень ответственным ребенком. Если делал на полу лужу, то полз за тряпкой, все сам вытирал и говорил себе: «Ай-яй-яй!»

Я родился на 3-ей Свердловской в доме 24 на 4-м этаже. Там жил новый муж моей бабушки. Это был кооперативный дом — тогда случались кооперативы — а потом тот кооператив разогнали, жильцам вернули деньги и стали они государственными. То есть, в отдельные трехкомнатные квартиры к ним стали подселять жильцов.

Чтобы не было чужих, им разрешили подселять своих братьев и сестер, и муж моей бабушки подселил к себе родного брата-алкоголика с женой Вартануж и детьми: Норой, Аней, Вовой, Светой. Сам он тоже не брезговал пьянством, а Нора, Аня и Света были шлюшками.

Так говорила моя мать.

Вскоре, видимо в противовес их легкомысленному поведению, она принесла домой кошку и та принялась регулярно плодиться. Котят раздавали, потому что они получались красивые и пушистые.

Обычно эти занималась моя мама. Она бегала по Баку и пристраивала котят.

Вартануж невзлюбила кошку — та воровала у нее мясо из кастрюли.

Бедная женщина ставила кастрюлю с первым блюдом на балкон, а сверху на крышку клала камень.

Кошка выбирала момент, когда никого не было в доме, проскальзывала на балкон, лапой поддевала крышку, после чего камень бухался в кастрюлю, а крышка летела на пол, потом она когтями вычивала мясо и съедала.

Моя мама, наблюдавшая все это через окно, потом доставала камень, мыла его, водружала на место крышку и сверху клала камень.

Так они жили очень долго.

Потом мама уехала в Ленинград и встретила папу, а кошку отдали в столовую.

Но после нее остался большой черный кот, которого и назвали Котиком.

Араблинка

С появлением папы, бабушка забросила своего нового мужа, и они переехали в общежитие на Араблинку.

Так называлось небольшое местечко в поселке имени Степана Разина, недалеко от которого располагалась та самая гора с пещерой, названная в честь этого народного героя.

Именно там, на Араблинке, и родились два моих брата-бандита.

Как только нас стало трое, мы немедленно принялись устраивать потасовки. В маленькой комнате, где кроме нас проживали наши родители и бабушка, сразу негде стало повернуться.

Мы жили на втором этаже. Дом двухэтажный. По обе стороны от лестницы шел длинный коридор и двери. Там жило много армян, и только одна семья была русская. Женщину звали Таня. Она жила с мужем-пьяницей и маленькой дочкой.

Напившись, он измывался над обеими.

Когда моя мама увидела, как его девочку рвет от страха, она схватила длинную палку и долго гонялась за ним вокруг стола, мечтая убить.

Потом он жаловался бабушке на мою маму, говорил, что он партизан и показывал медали. Обычно в самый разгар жалобы, в комнату входила моя мать, которая выдворяла его криком «Пошел отсюда!»

Тот пулей вылетал из комнаты, а бабушка бегала за мамой и причитала: «Только не надо ссориться!»

Бабушка очень не любила ссор.

Когда мы переезжали на новую квартиру, нас вышел провожать весь двор. Женщины плакали и обнимались.

У меня в этом дворе остался друг — белобрысый Вовка.

Потом много лет я буду ловить себя на том, что в каждом встречном светловолосом мальчугане буду узнавать Вовку.

Новая квартира

Новую квартиру, ту самую, в которой мы прожили потом почти тридцать лет, получил отец.

В старом детском жестяном сундучке с елочными игрушками на самом дне, чудом сохранившимся с тех времен, я совсем недавно нашел черновик его заявления в местком с просьбой предоставить ему отдельную квартиру, поскольку комнатка в общежитии совсем малень-

кая, а семья уже большая — детей трое, жена и теща — и ему негде отдыхать и заниматься: он поступил на заочное отделение Азербайджанского института нефти и химии.

На шестерых он получил отдельную двухкомнатную квартиру.

Мы переезжали в снег. Снег редко шел в Баку, но этот я помню. И, как мы вошли, в совершенно пустую квартиру, помню. Там было тепло.

В новый год наряжали елку. Все страшно волновались, развешивали флажки и гирлянды.

Потом пришел Дед Мороз с подарками. Это отца загримировали и одели в костюм. Мы его не узнали, смутились, а он спрашивал, как мы себя ведем.

А в школе в третьем классе случился новогодний бал и меня одели принцем. Я был черным принцем. Костюм мнешили мама и бабушка. Я имел успех.

Чердак

Над нашей квартирой находился чердак. Высоченный, таинственный, и пол устлан толстым слоем ракушек. Если кто-то шел по нему, мы слышали на потолке тяжелые, скрипучие шаги. От них веяло потусторонним. Мне всегда становилось не по себе.

А мать моя оказалась жутко бесстрашной. Она влезала по вертикальной лестнице, высовывала голову в темное квадратное отверстие чердака и кричала: «Кто там ходит? А ну, пошли все отсюда!»

Я боялся за нее. В это отверстие дуло, где-то в глубине чердака тонко завывал ветер, и казалось, что немедленно кто-то подхватит ее за голову и утянет на чердак.

Правда, когда мы сами ходили по этому чердаку, и кто-то высывался в то отверстие по плечи, становилось еще более жутко. Страх пронзал все существо, ноги подрагивали, а руки, пытались схватиться за кого-нибудь, и этот кто-нибудь тоже вздрагивал, и вы оба, с визгом, бежали к другому отверстию и скатывались вниз по лестнице в пронизанной солнцем соседней парадной.

В Баку было много солнца.

Папа и коммунизм

Как-то папа рассказал мне про коммунизм: работать будет необязательно, а в магазинах все можно будет получить без денег.

— Как без денег? — спрашивал я.

— Так, — говорил он, — деньги вообще отменят.

— Как это?

— Все из-за производительности труда. Она будет такой большой, что товары ничего не будут стоить.

— А кто их будет делать?

— Машины. Все будут делать машины. Человек вообще ничего не будет делать. То есть, работать будут только те, кто не сможет не работать. То есть, работать будет необязательно.

— Чем же они будут заниматься?

— Они будут читать, ходить в театры, развиваться духовно.

— А те, кто останется работать, не будут развиваться духовно?

— Будут. Все будут развиваться.

— А сейчас они не могут развиваться?

— Нет. Слишком много времени тратится на работу.

— Значит, если работаешь, то уже не развиваешься?

— Да, нет, же, просто свободного времени будет очень много.

Помню, меня этот разговор поразил.

И еще меня поразило то, что я почувствовал, как папа неуверенно обо всем этом говорит.

«Что-то тут не то», — решил я про себя и больше никогда не заговаривал с ним о коммунизме.

Новая школа

После пятого класса мама решила, что нам необходимо переходить в другую школу. Наша же только восьми-летка.

Конечно, можно было перейти и после восьмого, но она посчитала, что нам надо привыкнуть к классу.

Так мы попали в новую школу. Я — в шестой, Серега — в пятый, Валерка — в четвертый класс. Она оказалась вроде бы лысая, что ли. Имеется в виду школа, конечно. Наша старая вся заросла деревьями, а здесь — голое поле и кое-где чаклые кустики. Они потом выросли, но тогда — такая тоска.

И встретили нас не очень. Какое-то все неуютное, другое: другие преподаватели, другие все.

Мальчишки решили меня побить. Оказывается, у них всех новичков для начала хорошенько лупили. Собирались кучей и нападали. У нас такого никогда не было. Я все пытался узнать за что. Никто не мог ничего сказать. Просто так. Всех валтузили.

Меня посадили за одну парту с Мухой. Настоящее имя его — Магомед, или Мухамед, но все звали его Мухой. Двоечник и предводитель классной банды мальчишек. Именно они и молотили новичков. Мы с Мухой тут же подружались, потому что ему надо же было у кого-то списывать. Он списывал у меня. Потом, по секрету, он мне сообщил, что меня решили не бить. Тогда-то я и узнал, что у них существует такой обычай. Тогда-то и спросил: почему надо человека бить? Муха не мог ответить.

Он вообще по-русски говорил очень плохо, но парень был сильный, и потому уважаемый.

Но настоящим предводителем банды оказался вовсе не Муха, а Шивилов. Муха — исполнитель, а Шивилов — вдохновитель. Они дрались цепями. Толстыми, тонкими, длинными, короткими, велосипедными и доморощенной вязки. У каждого в кармане лежала цепь. Могли взять в круг и исхлестать. Шивилова звали Сергей.

Таня

Мне нравилась девочка Таня. Таня Авдеева — высокая, рослая. Я ее сразу отметил. Когда она шла по проходу к доске, у меня замирало сердце. Я решил, что влюблен.

Оказалось и Муха влюблен в Таню. Так говорили мальчишки. Они говорили: «Муха влюблен в Авдееву». И это было правдой. Муха мог дать подзатыльник любому, но при Тане робел. Она могла так ответить и при этом вся, словно, выпрямлялась.

В ней чувствовалось достоинство, и мне она казалась прекрасной.

Она была совсем некрасива внешне — рослая, нос с широкими ноздрями, она его смешно утирала, широкий лоб, серые глаза навывкате, небольшая грудь и крупные ноги с жирком.

Но я это понял потом, и тем, что называется, умом.

А если не умом, то она была очаровательна.

Финка

Меня все время сажали к двоечникам. То есть, меня пересаживали.

Те у меня списывали и потому сразу же со мной дружили. Высокие — Абашин и Белов, потом Ефремов, среднего размера, весьма аккуратный и тупой и, наконец, Бородин.

Этот маленький и вредный. Он все пытался меня запугать, утратить, для чего разговаривал на блатном жаргоне и делал выпады руками.

Таких, как он, вокруг как-то хватало, я к ним привык и мне было не страшно.

И потом они воевали друг с другом за лидерство. Так что Шивилу приходилось не сладко. Ему все время приходилось доказывать, что он — самый, самый, для этого надо было донимать учителей, срывать уроки, уходить из школы. Все это получалось у него лучше, чем у всех остальных.

Абашин считался трусливым парнем, и в драке, я думаю, от него можно было ожидать удара сзади. Я никогда не видел его в деле, но мне так казалось.

Белов слыл местным юмористом. Он побаивался Шивилова, но давал всем клички. Меня он стал звать «Покрывало», но кличка за мной не закрепилась. Она мне не нравилась, и я считал Белова полным идиотом.

Потом Абашин и Белов ушли из школы в ПТУ. Ушел Ефремов и Бородин.

Шивилев остался. У него имелись состоятельные родители.

Мы жили с ним в одной стороне и иногда возвращались из школы вместе. Я побывал у него дома, он — у меня.

Я показал ему финку. Наверное, мне хотелось произвести на него впечатление, и я произвел: он смотрел на нее, как зачарованный.

Отцовская финка. Еще с войны. Ничего особенного — нож с деревянной рукояткой.

Он попросил его поносить — я дал. Он не отдавал несколько дней. А потом об этом узнал мой отец. Отец разволновался и сказал, чтоб немедленно финка очутилась дома.

Шивилев ее притащил, и все вздохнули с облегчением.

Я рассказывал про эту финку всякие истории, о том, как финны ее кидают в цель, о том, как однажды, в финскую, на одном посту в лесу один за другим гибли часовые — их находили мертвыми и без оружия. Подобраться к ним, казалось, было совершенно невозможно, но все они были заколоты финкой. Ходить на этот пост боялись. И вот один вызвался добровольно. Он оставил стоять на посту бревно, обернув его тулупом, а сам лег в снег. Он лежал до утра. Под утро услышал странный свист, бревно с тулупом упало, он обернулся и полоснул из автомата по ели — оттуда упал человек. Старый финн каждую ночь убивал часовых финкой. Он бросал ее точно в цель.

Что-то похожее рассказывал мне отец. Но я сделал рассказ более ярким, и эта финка у меня получалась той самой финкой, погубившей целую роту солдат. Именно тогда я почувствовал, как воображение одного человека может воздействовать на другого — меня слушали, открыв рот.

Гриша и Ваниян

Ваниян — толстый, трусливый, ленивый, глупый — кто его только не бил. Наверное, я его не бил, потому что я вообще никого в классе не бил. С переходом в эту школу куда-то делась вся моя невеликая агрессивность.

Считалось, что ему можно было, походя дать подзатыльник, на что он реагировал протяжным: «Ве-ее... да-а-а... чо... э-э-э!.. ». На него наваливались на переменах, трескали ему книгой по голове, и вообще всячески тормошили, иногда только для того, чтоб услышать его: «Ве-ее... да-а-а... чо... э-э-э!.. ».

Папа у него работал в киоске, а в те времена это считалось хорошим заработком, и у Ванияна водились карманные деньги — он угощал, прежде всего, Шивилова, конечно. Чем угощал? Да, чем попало.

В сущности, он был добрый малый, его колотили даже девочки. Например, Гриша его колотила.

У Ванина были огромные серые глаза с большими ресницами.

Я встречал его после школы, но мы уже говорили с ним на разных языках.

Гриша — это Гриднева — высокая и сильная.

То, что она еще и очень красивая так до конца школы мы и не смогли разобрать.

Ее звали дылдой. Однажды на уроке физкультуры она упала с бревна, ударилась и заплакала.

Она дружила с Севиевой — та обладала пышными волосами, грудью, и большими, очень выразительными глазами. И еще она была невероятно глупа.

Так, по крайней мере, нам всегда казалось.

К концу десятого класса она очень похорошела, на глазах расцвела, но в уме ей по-прежнему было отказано.

В те времена на физкультуру девочки надевали черные трусы с резинками, отчего они казались круглыми шарами, насаженными на ноги, и белую маечку, под которой угадывались груди, что все мальчишки, смущаясь, старались не замечать.

В мальчишеской раздевалке стоял запах пота и преющих китайских кедров.

Занимались мы в одном зале, но отдельно, в разных углах.

И те, и другие косились в сторону друг дружки, подглядывали, хихикали.

В баскетбол играли по очереди: сначала мальчишки, потом — девочки. Мальчишки очень старались произвести впечатление, бегали и орали.

Особенно старался Виталька Абдиев — невысокий, подвижный, рано повзрослевший парень.

Бедняга утонул в море через пару лет после выпуска.

Гимнастикой занимались тоже в разных концах зала.

Когда Гриша ударилась, она плакала больше от обиды — мальчишки видели.

Она была выше на голову любого и ловко давала сдачи.

После десятого класса она уехала в Москву, поступила, вышла замуж.

Сидор

Толик Сидоренко, по кличке Сидор — высокий парень в костюмчике, из которого он, казалось, только что вырос. В классе он появился передо мной, вел себя независимо и ни с кем не водился.

Я про него расспрашивал: отзывались с неприязнью. Потом оказалось, что, в соответствии с традицией, при появлении в классе — Сидора избили, но он не покорился, и драки возникали постоянно. Чем сильнее на него нападали, тем упорнее он становился.

Главный враг Шивилова. В конце концов, меня посадили с ним на первую парту. Он сразу надулся и совсем не разговаривал на уроке.

А для меня, уже в те времена, настоящей мукой было держать свой рот на замке. Я комментировал каждое движение преподавателей и учеников. Скоро Сидор уже не мог сидеть спокойно. Я его называл: «Сидор — потребитель юмора».

Он не умел себя сдерживать, и хохотал во все горло. За это его выгоняли из класса, и он выходил, всхлипывая.

В таких случаях меня мучила совесть — все-таки, из-за меня человек пострадал — и я давал себе слово не болтать.

Но стоило нам оказаться за партой — и в меня опять всеялся бес-провокаатор.

Сам же я, как оказалось, обладаю потрясающей способностью не меняться в лице.

Так что доставалось одному только Сидору. Бедняга на многие годы стал моим лучшим другом.

Ната

Наступила зима. Зимой в Баку выпадает снег. Лежит он ровно полтора дня, но этого достаточно — все играют в снежки.

Не всегда это безобидные игры. Часто банда подростков нападала на девчонок и «мылила» их. «Мылить» — значит снежком натирать лицо. И еще избивали снежками. Некоторые снежки были «накатаны» — представляли из себя твердый, плотный шар. Получить таким изо всех сил в голову никому не хотелось.

Однажды посторонняя банда поймала наших девочек на выходе из школы. Их натерли у меня на глазах. Я ничего не мог сделать — тех было пятнадцать на одного. Натерли и Таню Авдееву и других.

Там еще был Муха, но оказалось, что это какая-то старшая банда и Муха себя вел, как смущенный щенок, повстречавший взрослых собак.

Я себя никак не вел и, по моему разумению, это была трусость.

Таня была великолепна — она высказала все, что хотела, главарю банды, в нее бросили несколько снежков и отстали. Банда выглядела смущенной, но старалась казаться веселой, а у меня на душе скребли кошки.

Я не знал кому все это рассказать и рассказал классной — Татьяне Васильевне. Я рассказал о себе, о собственной трусости и о том, что не знаю чего теперь делать. Она позвала Нату.

Ната — это сокращенное от Натела. Нерсесова Натела — смуглая девушка: черные волосы, брови, глаза. Глаза большие и ресницы. Она была чем-то вроде предводителя в девичьей компании. Если Таню Авдееву считать королевой, то Ната — премьер министр.

Я рассказал свою историю, она слушала, потупясь. Что она там говорила потом девочкам, я не знаю, но по всему чувствовалось, что я прощен.

Николя

Учителя физики мы прозвали Николя. Его звали «Николай Николаевич», но после фильма «Анжелика — маркиза ангелов», где был герой с таким именем, он стал «Николя».

Чаще всего мы с Сидором смеялись над ним. Это был огромный человек с большими руками.

Он ходил по классу и тихонько напевал себе под нос. Я изображал его очень похоже — Сидор помирал со смеху и, если его в это время вызывали к доске, всхлипывал, объясняя, к примеру, что такое ускорение свободного падения.

— Сидорено! — возмущался Николя, — Ну что может быть смешного в ускорении свободного падения?

Николя, в сущности, был человеком очень добрым, но не имел много слов.

Однажды ему поручили отвести наш класс на флюорографию. Он отвел, но потом от него все сбежали. Весь класс удрал в кино.

Исключение составил только я. Вместе с Николя мы вернулись.

Когда мы вошли в пустой класс, Николя вздохнул, и отпустил и меня. Это было то самое кино — «Анжелика — маркиза ангелов» — после которого он получил свое прозвище.

Не то, чтобы я не хотел в кино, просто мне показалось, что глупо убегать, если это все равно обнаружится.

Отпущенный, я немедленно отправился на поиски девочек. Я нашел их у Укли — Уклеин — за чашками чая.

— Ваших всех мам, — сказал я, — вызывают в школу.

Я так пошутил. Никто мам никуда не вызывал — Николай не проговорился, но все поверили и назавтра все мамы были в школе. После этого, вплоть до замужества, Ната меня звала не иначе, как «Покровский — предатель».

Хорошо, что они не знали, что я тогда только пошутил.

Как-то Николая заболел, и нам отменили физику — последний урок. Мы тогда всем классом отправились к нему домой, проведать. Он был очень рад. Не знал куда деть себя и свои большие руки.

И еще он очень обрадовался, когда мы попросили его сфотографироваться с нами при выпуске.

— Да? — сказал, а сам от удовольствия просто светился.

Наша шайка

К седьмому классу у нас образовалась своя шайка. В шайку входили: Таня Авдеева, Ната, Люда Уклеин по кличке «Укля», отличница Таня Бобикова по кличке «Бобик», я и Сидор. Примыкали к нашей компании Есина Иветта по кличке «Ветик» и Ира Долгова, которую девочки долгое время считали просто дурой.

Ветик

Ветик сидела в третьем ряду, у окна. Худящая отличница в очках. На переменах она почему-то оказывалась рядом со мной, при этом она все пыталась меня толкнуть, ущипнуть или, в крайнем случае, треснуть.

Как-то у нас дома на моем дне рождения она, раскачиваясь на перекладине, умудрилась ногами обнять меня за

плечи. Моя мама сказала ей, что она сломает мне спину. Ветик стала пунцовой.

Через много лет я понял, что она просто была в меня влюблена, а пока учились, мне все тянуло ее поколотить.

Это случилось на мое шестнадцатилетие. Все напились маминого коктейля. Моя мама сделала адскую смесь из ликера, вина, сока и еще, и еще чего-то. Целый тазик.

Мы справляли эти шестнадцатилетия одно за другим. Ходили друг к другу гурьбой. На столах обязательно присутствовал салат «Оливье». Тогда он только появился. Мы считали, что ничего вкуснее не бывает.

Ту перекладину нам давным-давно сделал отец: он просверлил в потолке дырки и вывел на чердак специальное крепление. На нем сидела перекладина. Она была сделана в виде трапеции: длинные направляющие уходили под потолок. Можно было подтянуться, перекинуть через нее ноги, а потом, втянувшись, усесться, как под куполом цирка.

Однажды я с нее упал. Причем головой вниз.

Укля

Укля появилась не сразу с начала учебного года, а месяца через два, потому что она отдыхала в «Артеке». Мама у нее работала вроде в профсоюзе и ей дали пультку.

Как только она появилась, девчонки немедленно захотели организовать в нашем классе КВН и играть против мальчишек.

Мальчишки сначала демонстрировали полнейшее безразличие к этой ерунде, но потом идея овладела массами, и они разволновались.

Даже Муха переживал.

Шивилов тоже переживал, и остальные от него не отставали.

Так как все они отличались потрясающим косноязычием, то капитаном команды выбрали меня, а в помощь мне выделили Сидора. Наши с ним акции стремительно поползли вверх.

У девочек капитаном оказалась все та же Укля.

Но к ней мы с Сидором отнеслись с некоторым презрением — Укля уродилась маленького роста.

И еще у нее был большой живот, и она была кривонога.

Мы посчитали, что тренироваться нам не надо — мы и так хороши, и вылезем на одной только импровизации. То есть, мы презирали противника, за что и заплатились — проиграли в пух.

Правда, дрались мы, как львы, и импровизации было, хоть отбавляй. Мы устраивали пантомиму, читали стихи, соревновались капитанами, составляли осенние букеты и прочее, прочее, прочее.

Проиграли.

Переживали все: Муха, Шивилов, остальные, ну и мы, с Сидором.

В нашу сторону ни одного упрека — все видели, как мы из кожи вон лезли.

Из наших девочек Укля первой попала на супружеское ложе. Видимо ей там все понравилось, потому что сразу после школы она долго убеждала меня в том, что замуж надо взять «кого-то из своих».

В седьмом классе у нее обнаружили солитера, потом его изгоняли, и все наши школяры бурно обсуждали и способ выгона, и его длину.

В десятом произошло падение авторитета Шивилова. Он рухнул без грохота, скорее, медленно осел.

Просто все выросли. Выросли мы с Сидором, а Муха стремительно ушел вниз. Теперь он нам был по плечо, а там и вовсе измельчал.

Он ушел в девятом, не доучившись. Говорили, что ему надо было кормить семью. Я потом его встречал. Он мне радовался, я ему тоже, но говорить было не о чем.

Так что к десятому классу Шивилов остался без Мужа. Он еще пробовал устраивать скандалы на уроках, особенно биологии, где учительницу Ольгу Валентиновну никто и в грош не ставил. Однажды он снял с себя ремень с бляхой, выскочил из-за стола и принялся размахивать им над головой.

Я тоже встал из-за стола и пошел на него.

У него в глазах было «лучше не подходи», но я подошел, а вращающийся ремень превратился в сплошной круг в сантиметре от моего лица.

Потом я просто поднырнул под него и прижал Шивилова к стенке. Я тогда уже был больше его и сильнее.

После окончания школы я сразу поступил в военноморское училище, а Серега Шивилов где-то околачивался целый год, а потом тоже в него поступил.

Только я был химиком, а он — штурманом и мы почти не встречались. Кроме того, он был на курс младше, а в военных училищах это почти, как на вечность.

С младшим не разговаривают.

Аллочка

Ненависть к литературе у меня начала развиваться с третьего класса. К седьмому она окончательно окрепла. В седьмом появилась Аллочка.

Мы звали ее «луч света в темном царстве». Ей было двадцать три, и у нее были потрясающие бедра.

И еще у нее была талия, круглый животик, ручки — пухленькие, и такие же колени и ножки.

Лицо — носик, сияющие глаза, чувствительный рот.

Я любил смотреть на ее животик — от дыхания он так уютно колыхался — просто слюньки текли.

«Мы хотели ее все» — наверное, так можно было бы написать, но это было бы неверно. Удовольствие, при взгляде на нее, у мальчишек, несомненно, присутствовало, но смущения было куда больше.

И ни одного грязного слова.

Никогда.

Наверное, мы ее любили. Она все хотела, чтоб мы писали в сочинениях свои мысли. Не понимаю, какие при этом могут быть мысли.

Потом, через много лет, мне попали в руки наши школьные сочинения. В них менялась только фамилия. Они все были одинаковые.

Слово в слово сдuty с Флоренского. Был такой учебник по литературе.

На переменах девчонки стояли вокруг нее, а мальчишки делали вид, что их-то уж точно дела любви не интересуют.

Из-за нее я перед выпускными экзаменами выучил все правила по русскому языку и всю литературу наизусть. Я вставал в семь утра и до двадцати трех учил.

Я сдал на «пять».

А все потому, что она мне на первом же уроке поставила тройку и сказала несколько обидных слов о том, какой я отличник. Я поклялся отомстить. Я выучил ее предмет наизусть. Это и была моя месть.

У нее на уроках всегда волнительно и восхитительно.

Она рассказывала о писателях разные разности.

Она многое знала. Во время изложения материала у нее с лица не сходила улыбка удовольствия. Ей нравилось ее дело. Ей нравилась литература, и на момент произнесения все соответствовало — и она и литература.

Невозможно преподавать романтический предмет и не быть романтической, то есть, невозможно, например, читая наизусть «Онегина», пахнуть, например, непонятно откуда вчерашним борщом.

А от нее восхитительно пахло. От нее пахло мечтой.

Она придумала, чтоб мы разыгрывали сценки из произведений.

И мы разыгрывали.

Я играл Инсарова и Базарова. Инсаров встречался с любимой девушкой, а Базаров умирал в присутствии госпожи Одинцовой.

Любимую девушку Инсарова играла Ира Соколова из параллельного класса. Говорили, что я ей очень нравился. И еще говорили, что она хочет поступать в театральный институт.

По ходу сцены следовало поцеловать ее руку. На репетиции я кричал, что никогда этого не сделаю.

А потом поцеловал. И мне это не показалось отвратительным.

Мало того, мне это показалось прекрасным и надолго полюбилось. Мои губы обнаружили, что у нее нежные руки.

В том смысле, что у нее гладкая кожа. И еще про нее можно сказать «атласная».

Вот именно «атласная».

У нас с Ирой после этого немедленно должны были бы возникнуть чувства.

Но, увы, не случилось! Почему не случилось?

Не знаю. Может быть, я в этих делах оказался слишком туп.

Примерно, как те герои, которых играл.

«Вы шли от нас?» — «Нет... не от вас» — таков текст. Спрашивала она, отвечал он. Во всем ощущалась любовь.

Остальной текст я не помню, а это помню до сих пор. Мой герой по ходу сцены объяснял девушке, что он революционер, не имеет права на семью и нежность, и всю свою жизнь должен посвятить освобождению родной Болгарии, кажется, от турецкого ига.

Одного взгляда на Иру Соколову было бы достаточно, чтоб ради нее забыть и Болгарию и все турецкое иго, но мой герой так не считал — зал аплодировал.

С Базаровым проще.

Он лежал на смертном одре. На мне парик и бакенбарды. Занавес открылся и по рядам прокатился смешок, но потом я заговорил — смех прекратился. Все слушали очень внимательно, а мне казалось, что я на самом деле умираю, с таким жаром я произносил слова, нещадно переливая их по дороге.

Зрители потрясены. В конце — особенно.

Швилов, что стоял стреме по закрытию занавеса, от волнения даже забыл, что его надо закрывать, и пришлось ему шипеть: «Закрой!», — а я тогда понял, что никогда не буду артистом, иначе мне придется умирать каждый раз — уж очень натурально у меня это получалось.

Одинцову играла Укля. У нее на подобное имелся опыт. Она играла в народном театре. Тогда многие играли в народном театре. Все наши девочки были очень активны, а Укля — особенно. Они пели, играли и выступали на утренниках в качестве зайчиков. Они называли это «ария голодного из оперы «Дай, пожрать!» — их там до вечера ничем не кормили.

Они даже пели революционные песни: «Эх, тачанка-ростовчанка! Наша гордость и краса-а-а-а! Конармейская тачанка — все четыре колеса-а-а-а!»

Я с ними тоже пел, а они говорили, что у меня нет слуха. Зато у меня был голос.

Очень звучный, густой и фальшивый. Он напрочь перекрывал все их правильные ноты.

Спевки организовывала наша классная руководительница — Татьяна Васильевна — она вдруг почувствовала, что любовь наших девочек от нее уходит к Аллочке.

Когда она это почувствовала, у Аллочки начались проблемы. Ей даже собирались запретить преподавать в нашем классе — она стала задумчива, расстроена невпопад. Вот что значит война за любовь девочек и не только их.

А потом все образовалось, и ее у нас оставили, а скоро Аллочка вышла замуж, родила, сделалась усталой, с заботами.

Так говорили девчонки, а они в этом разбираются.

Через много лет, я повстречался с Аллой Семеновной, она — мила, но рассеяна. Она даже красива, но мы уже выросли.

Сидор

Сидор доводил Аллу Семеновну до белого каления тем, что он писал сочинения каллиграфическим подчерком, только буквы были очень маленькие. Он мог уместить несколько страниц в формате спичечного коробка.

Она ему говорила: «Сидоренко — «два»!» — а он только смеялся. Сидор стал уже взрослым. Он читал толстенный шахматный календарь, держа его на коленях. Календарь раскрывался на нужной странице, совался в парту, и через щель в этой парте Сидор видел его страницы.

«Сидоренко! Повтори, что я только что сказала!» — Сидор вставал, и с улыбочкой, очень медленно, повторял все слово в слово.

Кроме потрясающих способностей к аналитическому мышлению, он еще обладал умением одновременно слышать учителя и читать шахматный календарь.

На математике он выходил к доске, записывал пример и тут же после «равняется» писал ответ. Он все вычислял в уме.

Ему прочили блестящую карьеру, а он в середине десятого класса вдруг бросил школу и ушел работать.

Потом он работал и учился.

Потом опять работал.

Он поехал в Свердловск. Там после окончания школы, на юридическом, училась Укля.

Кажется, Сидор повзрослел сразу, после того, как умерла его мать. У нее болело сердце. Сидор говорил ей «вы». Потом он занялся альпинизмом, влюбился в скалолазку с двумя детьми, на десять лет его старше, женился, сделал ей третьего.

А его отец говорил нашим девочкам: «Скажите ему. Пусть не женится. Он вас послушает».

Сидор не любил отца.

А может, и любил, просто не мог простить ему то, что после смерти матери, он привел женщину.

И еще отец выпивал, а Сидор ненавидел пьянство, когда он видел пьяного, у него темнели глаза.

Он здорово бегал на физкультуре. Лучше всех. Потом он занялся боксом. Купил себе гирию.

Однажды нас с ним побила толпа. Мы шли втроем — я, Сидор и Ваня — и нас окружили прямо на улице человек двадцать. Было холодно. Шел мокрый снег. Они прицепились к Сидору, конечно. У него на груди был комсомольский значок. Никто из нас не отличался особой любовью к комсомолу, просто у него был значок.

Кто-то из толпы протянул к нему руку, Сидор перехватил. Через мгновение он уже бил кого-то, прыгнувшего на него, влет, в лицо.

Я помню только, что поскользнулся. Нас обступили и пинали.

Было не больно, было обидно — надо же, поскользнулся.

Потом мы с Сидором бегали в степь, тренировались. Он был очень выносливый. Как-то мы шли с ним летней ночью, и нас снова обступила толпа. Не та толпа, что зимой, другая.

Здоровенный верзила кого-то из своих толкнул на нас. Так в те времена часто начиналась драка.

Мы остановились. Стояли, ошестившись. Я смотрел жожаку прямо в глаза. Их пятнадцать, нас трое. Главное было выдержать взгляд. Я выдержал. Потом нам кричали что-то вслед, но это больше для своих.

Сидор не трусил, я тоже. С нами был его друг, боксер. Тот потом сильно волновался. «А если б они набросились?» — «Ну и что?» — «Их же было больше!» — «Ну и что?»

Сидору все равно. Мне тоже.

Он потом нашел тех, кто отпинал нас зимой. Один нашел всех. Сначала он нашел одного, избил его и через него нашел другого.

Так он нашел и избил всех.

Стекловата

После девятого класса, летом, мы с ним решили поработать. Идея пришла в голову Сидору, конечно. Мне такое не могло прийти. Меня в классе считали маменькиным сынком — я никогда не ходил с ними даже в походы. Мне лень было ходить в походы, я готовил себя к грядущему.

Они карабкались в горы, сидели у костра, спали в палатках, мерзли и смотрели ночью на звезды.

Я считал, что звезды я и с балкона увижу, а спать в палатке холодно. Костров я в своей жизни сжег столько, что небольшой перерыв в этом деле, так мне казалось, никак не скажется на этой части моего жизненного опыта.

В девятом классе нам было по шестнадцать лет. Мы работали все лето на базе грузчиками. Мы разгружали стекловату.

До этого мы подстриглись наголо и отправились пугать девочек. Идея принадлежала Укле. Пугать мы должны были Нату и Таню Авдееву — они в этот момент сидели у Наты и читали книгу.

Мы подошли к ее дому, вытащили красные платки и повязали ими голову, а на глаза мы одели черные очки. В таком виде мы по решеткам на лоджиях вскарабкались на второй этаж — у Наты не было решеток — и проникли в дом — балконная дверь была открыта.

Дальше мы ползли по полу, так как девочки читали книгу вслух в другой комнате.

А в этой комнате сидел столетний Натын дед. Тот сидел в углу, и мы его сначала не заметили, а когда заметили, то поздоровались: «Здрас-ссте!» — на что он нам ответил: «Здрас-ссте!» — и мы дальше поползли.

Потом мы резко вбежали и ухнули: «Ух!!!» — девушки вскочили, и сейчас же в дверь вломилась изнемогающая от смеха Укля вместе с Бобиковой — нашим школьным Бобиком.

А на дворе уже тетки обсуждали происходящее, и, идущей с работы Натыной маме — «тете Нине» — сейчас же доложили: «Теперича к вам через балкон лазияют!» — на что она ответила: «А вам завидно?»

После этого Сидору понравилось пугать, и он захотел испугать еще и Долгову. Он захотел влезть на крышу —

Долгова жила рядом с ним на последнем этаже — найти вентиляционную трубу ее квартиры и замогильным голосом ее позвать.

Помешала соседка, которая согнала Сидора с лестницы, ведущей на чердак.

Сидор решил ей отомстить. Он ночью притащил с того кладбища, что совсем рядом, венок, перевернул траурную ленту и написал: «Дудке от дьявола!» — соседку звали Дудкой и она обожала кавалеров.

— Позвонили в дверь, — рассказывала потом Дудка матери Долговой, — смотрю в глазок, а там букет. Я думала от кавалера. Открываю — ужас. Что делать?

Мама Долговой знала все о Сидоре и его мести, и она сказала:

— Дудка! Это кто-то колдует. Ты пописай на венок и сожги.

Дудка пописала, но потом передумала и решила вызвать милицию с собакой: «Пусть придет милиция с собакой!»

— Дудка! — сказала ей мама Долговой, — Ты же писала на него. Какая милиция с собакой? Собака по запаху придет к тебе. Лучше сожги.

И она сожгла.

А еще Сидор привязывал девочкам двери веревкой друг к другу.

И вешал им на них коробочки со зловещими надписями.

Стекловата приходила в вагонах. Надо было открыть вагон с помощью лома, там тогда отваливался люк и в него летели пачки этой дряни.

Мы их хватали и складывали в стопки. Там были горы стекловаты. А вагоны приходили каждый день.

Стекловата летела по воздуху, и воздух от нее переливался и блестел. Она втыкалась в руки, в лицо, в шею, в глаза.

Она набивалась во все щели, за шиворот, под рукава.

Мы носили куртки и брюки, голову прикрывали кепкой, лицо — респиратором, глаза очками, руки — перчатками. На ногах у нас были ботинки.

Было жарко, лето, нечем дышать.

Пот струился по лицу, заливал глаза, а спине выступала соль.

Тогда-то я понял, что надо учиться. Причем, учиться хорошо.

Мы работали по семь часов каждый день. Нам давали молоко. Раз в неделю. Сидор выпивал сразу, а я экономил, нес домой.

Мне нравилось носить домой молоко. Так я выглядел кормильцем.

Еще я приносил деньги — аванс и получку. Примерно сто двадцать рублей в сумме.

Когда отдавал деньги в первый раз, очень волновался, а бабушка была растрогана и что-то, отвернувшись, шептала.

Бабушка часто шептала. Она верила в Бога. Я ей как-то сказал:

— Бабушка! Бога же нет!

А она мне:

— Что ты, Сашенька, Бог есть, — и у нее в тот момент были такие глаза светлые, что у меня мурашки по коже.

За лето мы с ней накопили на одежду к осени. Мне и братьям.

С этих пор я часто буду покупать одежду, в основном себе, потому что все мое мгновенно донашивалось.

Юрка

Кроме нас, там были две пожилые грузчицы — они здорово ругались матом — и еще там был Юрка — небольшой, плечистый армянин.

Юрка тоже ругался матом.

Там все ругались.

Не ругались только мы с Сидором. С Юркой мы были на «ты».

Он отсидел три года в тюрьме за мелкое воровство и был недоволен политикой государства.

Однажды он сказал, что во всем виноват «Володька». Мы поинтересовались кто это.

Оказалось, что под «Володькой», Юрка понимает Ленина нашего, Владимира Ильича!

Мы с Сидором начали орать (в основном, Сидор), чтоб Юрка при нас Ленина не трогал, потому что (потому!) для нас эта тема святая (ну, да!).

Орал Сидор очень убедительно, эмоционально, я ему вторил, и Юрка, поворчав насчет того, что все мы еще очень маленькие, но ничего, подрастем и все поймем в этой жизни, заткнулся, как нам и хотелось.

Похоже, Юрка нас с Сидором очень уважал, потому что мы знали много слов об окружающем.

Отец

Отец ушел от нас, когда мне было уже шестнадцать. Поссорился с мамой и ушел.

Они даже подрались, потом он хлопнул дверью.

Потом он приходил несколько раз ко мне в школу, хотел поговорить.

Когда он приходил, я убегал с уроков, отсиживался в туалете, мечтая закурить.

Я так и не научился курить.

За всю жизнь не сделал ни одной затяжки.

Сунули мне как-то в детстве сигарету в рот — «Затянься!», — я «затянулся» и пошла из нее разная дрянь. Я решил, что дерьмо всякое в рот совать совсем не обязательно и не стал курить, но в туалете, после посещения школы отцом, я бы закурил, да нечего было.

Отец

Мне его потом всю жизнь не хватало. Я вел с ним долгие разговоры. Так просто. Ни о чем. Болтали, болтали, смеялись.

Все это в мыслях.

А наяву я поклялся, что меня никогда с ним рядом не будет.

Что я не приду на его могилу.

Я все это выполнил — не пришел. Потом тетки спрашивали у моих братьев, почему я такой.

Сергея ответил, что из-за отца Саша ушел служить на подводных лодках.

Может, и так.

Отец умер в шестьдесят восемь. В машине скорой помощи, у него отказали почки. Он жил под Лугой, в совхозе «Рассвет», строил дачу, разводил коз.

Помню, как он ездил поднимать целину. Надолго. Мы еще были совсем маленькие. Как символ абсолютной бесполезности этого дела, он привез оттуда полный мешок пшеницы.

Он приехал колючий, с бородой.

Я к нему сразу прижался и задохнулся от чувств.

Дед и прадед

Прадеда с отцовской стороны звали Михаилом.

Он был доктором медицины и в 1910 году умер в Вене, куда выехал лечить рак печени.

Мать моего деда умерла в 1900 году. Деду тогда было 2 года.

В 1910 он попал в приют для благородных сирот принца Ольденбургского.

Приют помещался под Лугой и в 1910 году мальчики из него ездили в Стрельну на могилу принца. На фотографии все они одеты в униформу.

А в 1918 году дед Сергей был уже бойцом Красной Армии.

Надо было что-то есть, именно поэтому он и записался в красноармейцы.

В графе «происхождение» написал «мещанин».

Два его старших брата, Алексей и Всеволод, к тому времени уже должны были воевать на стороне белых.

Они были старше на несколько лет и революцию встретили кадетами.

О судьбе их ничего не известно.

Все это рассказал дед под большим секретом своей супруге и моей бабушке, и все это так и осталось бы между ними, если б бабушка, под большим секретом не рассказала все это своим детям.

До 1936 года дед посылал своей собственной прародительнице ежемесячно 10 рублей. Тогда это были большие деньги. В те времена его бабушка еще была жива.

Она жила в родовом имении где-то на Псковщине. Там ее никто не трогал. За необычайную доброту крестьяне оберегали ее от всяких напастей.

И имение ее сохранили — имение князей Вяземских.

Прапрабабушка со стороны отца носила эту фамилию.

Как-то тетка Лида торжественно показала мне фотографию Вяземского Петра Андреевича и спросила: знаю ли я кто это. Я сказал, что это Гоголь.

Все попытки моей тетки найти хоть какие-то следы Вяземских в вышеуказанном месте не увенчались успехом. Наверное, имение было совсем в другой стороне.

Да и имение ли?

Дед Сергей умел замечать следы.

Этому его научила Красная Армия.

До сих пор ни в чем нельзя разобраться.

Бабушка и ее родня

В 1923 году дед, так и не побывав в боях за дело революции, уволился в запас и женился. В жены он взял девушку из Луги по имени Мария. Она была красива и с косой. Ее так и звали: «Маруся с косой». Коса до пят. Волосы цвета пепел.

Есть подозрение, что познакомились они еще в те года, когда дед учился в реальном училище. В это время в женской гимназии она, кроме русского, изучала немецкий и французский.

Дед Сергей был не первой ее любовью. Сначала был Павлик Сперанский, сын священника. По нему тосковали. По нему лили слезы. И это были слезы любви. Потом он куда-то делся.

Ее отец — Антон Брувер-Буценок, выходец из Латвии, страны озер, высокий, видный, красивый, с бородой — служил дворецким.

Как-то в Лугу из восточной Польши приехало четыре сестры — Юля, Агата, Розалия и Петрунеля. Последняя была модисткой и содержала сестер.

Их приезд не остался незамеченным, Антон Брувер-Буценок предложил Агате руку и сердце.

Она соизволила согласиться. На фотографии тех времен она сидит, а он над ней возвышается.

Жили они душа в душу, при этом Агата работала горничной.

В 1900 году на свет Божий появилась моя бабушка.

В 1905 году прадед ушел на русско-японскую, где вскоре сгинул.

Агата, потужив сполна, вышла замуж. Нового избранника звали Федором Ивановичем.

Состоятельный человек, он занимал в Луге положение.

Умер он в конце двадцатых, оставив семье в местечке Замощье господский дом.

На крыльце этого дома тетка Юля, так и оставшаяся девушкой, жившая, на этом просто основании, всю свою жизнь с семьей Агаты, пела: «Боком, боком, тихим скоком!» — и хлопала в ладоши, а перед ней танцевала маленькая девочка Лидия, моя будущая тетка.

Юля умерла в 1936 так же тихо, как и жила. Агата умерла в 1935, Петрунеля умерла еще раньше. Не очень понятно, когда же умерла Розалия. Одно несомненно — кроме всех прочих, она родила нам дядю Витю.

Война

Дед Сергей в 1931 году поступил на воинскую службу. Сделал он это, как вскоре выяснится, только для того, чтоб пройти сначала финскую, а затем и Великую Отечественную. В 1940 он уедет в Брестскую крепость.

13 июня 1941 года встречать Гитлера к нему придет его семья — жена и трое детей: Миша, Лида и Алла на руках.

22 июня на рассвете они услышат танки. Все выскочат на улицу. Они подумают, что это наши танки и что идет учение.

Головной танк развернет башню и на мгновение замрет. Потом весь мир разорвется.

За их спинами рухнет дом комсостава — в него попадет снаряд.

Дед сейчас же уйдет в сторону крепости.

Они увидят его теперь только в сорок четвертом.

На три года они останутся «под немцами».

Их приютят, потом они выроют землянку.

Лиду отдадут в деревню — пасти коров. Она так с ними и будет спать.

Моему отцу к тому времени будет уже семнадцать, и он станет главным кормильцем.

Вскоре их переписут, учтут — с переписью у немцев все было в порядке — и отцу придет повестка на работу в Германию. Тогда его мать пойдет к коменданту и станет просить.

Она просила на отличном немецком языке, и он согласится оставить мальчишку работать на мельнице.

Она придет из комендатуры и скажет: «Дети! Запомните фамилию Крамер! Он только что спас нашего Мишу!»

На той мельнице работали поляки, и отец, несомненно, в благодарность Крамеру за спасение, вступил в польское сопротивление.

Он потом долго и очень сносно говорил по-польски и по-немецки.

А младшие почти забыли русский — всюду слышалась чужая речь.

Лиду забрали из деревни. Однажды на мосту через железнодорожные пути ее ударил по спине палкой огромный немецкий солдат.

Она бежала и плакала.

После этого она очень сильно боялась немцев.

Как-то детям в лесу встретились немецкие фуражиры на лошадях.

Они их испугались и с плачем пытались обнять им сапоги.

А перед приходом Советская Армия сильно бомбила. Они пережидали бомбежку в землянке. Мой отец тогда сказал: «Сидим здесь и ждем своей смерти».

Когда они выбежали из землянки, в нее попала бомба. Они снова остались живы, и снова совсем без вещей.

Дед нашел их сам. Немцы отступили и пришли наши. Маленькая Лида стояла в лесу, а к ней направлялись двое военных. Что-то она почувствовала, а, может, ей это только показалось.

«Девочка! — сказали военные, — А не знаешь ли ты здесь...» — через мгновение она уже повисла на одном из них, крича сразу на трех языках.

Она не выпускала его руку из своей ладошки, пока вела его по мелколесью.

«Это мой папа!» — сказала она матери.

Мой отец ушел на войну в сорок четвертом. Воевал он вместе с дедом. Когда я спрашивал его что такое война, он говорил: «Война — это грязь».

Эльмар

В десятом классе к нам пришел Эльмар.

Всегда аккуратный, немногословный, задумчивый, из профессорской семьи. Папа, мама — биологи.

Бабушка у него не говорила по-русски и носила на голове шелковый платок. Как всякая восточная женщина,

в присутствии мужчин, пусть даже собственного внука с приятелем, она подаст на стол чай и сладости, и тотчас же исчезнет.

Я был у них дома. Хороший дом.

Мы с Эльмаром спорили обо всем на свете и бегали стометровку. Он хотел сдать на первый разряд.

Кроме безупречного русского, Эльмар говорил еще и на литературном азербайджанском, и учитель этого языка на уроках слушал его с придыханием.

После школы Эльмар стал биологом.

Он изучал бабочку, вредящую хлопководству.

Столько лет прошло, а мне все кажется, что вот сейчас зазвонит телефон, я сниму трубку, а он мне скажет:

«Привет, брат!»

Последняя драка детства

В последний раз в детстве я дрался в десятом классе.

Я ехал с девочками в переполненном автобусе из города с дополнительных занятий. По математике.

Таня что-то сказала каким-то ребятам, сидящим прямо перед ней.

На остановке мы вышли, и они выскочили за нами. Они пытались побить Таню. Я ударил одного из них первым. Их было четверо, и они на меня налетели со всех сторон.

Я прижался к стене.

Наши девочки били их портфелями.

Потом эту драку мы долго обсуждали. Я был горд.

Нона

Судьба принимает всякие очертание. В моем случае она приняла очертания тети Ноны.

У моей мамы было две подруги Нона и Ийя. Обе с детства интересовались военными.

Моя мама тоже ими интересовалась, но только она всегда была девушкой на выданье, она долго перебирала кавалеров и, наконец, она выбрала.

Моего отца.

Он не был военным, но это не помешало тете Ноне в девятом классе у нас появиться.

Лучшего агитатора Красная Армия еще не знала. Тетя Нона пела, плясала, размахивала руками и прищелкивала языком, когда она говорила о флоте и о морях.

Она говорила про форму — как она на них сидит, про науку — все в белых халатах, про деньги — их просто некуда девать.

Она говорила про девушек — они сходят с ума, про бабушек — их распирает от гордости, про матерей — их тоже распирает.

Она говорила про автобусы — ими надо добираться до училища, про трамваи — ими не надо добираться.

До сих пор не могу понять что вдруг стало с моим разумом. Я, любящий математику и в «Мире животных», вдруг заинтересовался химией и войной на море.

Тетя Нона познакомила меня со своими сыновьями — один уже поступил в училище, второй — еще нет; она познакомила меня со своим мужем Дружеруковым — он был основательным капитаном второго ранга и в том училище преподавал.

Не иначе как, меня ошеломило ее жизнелюбие.

Весь десятый класс я учил химию — просто чокнуться можно.

А потом я пошел и подал документы.

И сдал все на «пять»...

Мда...

Так я и попал в училище...

2002

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	5
------------------------	---

КОРАБЛЬ ОТСТОЯ

рассказы начала XXI-го века

Вместо предисловия	9
Жиры	12
Полет	14
О Генке	16
Глаза	18
«Человек за бортом!»	20
О картинах мира	22
Компьютерные игры	23
Всецело	28
Жизнь на планете Зета	29
Бешеный Вадик	32
О твоём месте.	36
Вмятина	37
Некоторые правила игры	39
Как и кого называть	40
Как входят	42
Серегины истории	44
Пепельница	51
О гномике	53
Третий рассказ Сереги	54
Люблю Отчизну	57
Страх	59
Встреча	62

Персик и картошка	64
Третьи сутки	67
Тест	69
Авария	71
Письма	73
Константиныч	75
Демократия	78
Кремовые рубашки	80
Утро	82
Учение «по»	84
Мальвина	86
Шашки	89
Поход	92
Доктор	99
Некоторые дополнения к правилам игры	101
Вашингтон	103
Рында	105
Зам	108
Тифон	110
Пайковые	112
Жизнь	116
Тактика	118
Миноги сосущие	121
Лирика	123
Морской бой	125
О перестроившихся	127
Без названия	129
Перцепция и монада	131
ПДСС	133
Лейтенант	137
Депутат	140
Хабибулин	143
Командующий	146
Путч	148
Лирика	151
Расширение на восток	154
Крейсер	156
Комиссия	159
Деньги	161
Крабы и рэкет	164
Проворот	168
Показательная стрельба	171
ЛВП	174
Осциллограф	178
Наши роды	181
Отец	183
Подход	185

Просветление оптики	188
Главком	191
Еще Письма	194
Робинзон	210

КАДЖАРАН

армянские рассказы

Каджаран	219
----------------	-----

ПИРАТЫ

сказки середины 80-х

Пираты	237
Солнце и зайчики	239
Чертенок	241

ЖИЛОЙ

остров моих историй

Жилой	245
-------------	-----

П 48 Александр Покровский. Корабль отстоя.
Рассказы и другое. СПб.: ООО "ИНАПРЕСС",
2003. — 352 с.

УДК 882 ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 5-87135-144-1

Замечательный прозаик Александр Покровский в своей новой книге представит перед читателем не только в привычном амплу рассказчика, чья искрометная интонация угадывается моментально, но и как автор повести «Жилой», где через биографию и памятные подробности оживает прошлое, потерянное в реальности неумолимого времени, но сохраненное сердечной памятью навсегда.

А. Покровский

КОРАБЛЬ ОТСТОЯ
рассказы и другое

Сдано в набор 11.02.03. Подписано в печать 19.04.03.

Формат 84×108/32. Гарнитура Балтика.

Печать высокая. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 16.

Тираж 8000 экз.

Заказ № 2857.

Издательство ООО "ИНАПРЕСС"

С.-Пб., Невский пр., 74.

inapress@peterlink.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ

ОБРАЩАТЬСЯ:

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РЕТРО"

(812) 325-1938

(812) 567-5335

(095) 179-9571

e-mail: petropol.spb@mailbox.alkor.ru

АДРЕС САЙТА: www.retropublishing.com

КНИГИ НА ТЕРРИТОРИИ США И КАНАДЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТ

Petropol.inc,

1428 Beacon st, Brookline MA 02446

Tel: (617) 232-8820 / (800) 404-5396

Fax: (617) 713-0418

e-mail: petropol@gis.net

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.petropol.com

Замечательный прозаик Александр Покровский в своей новой книге предстает перед читателем не только в привычном амплуа рассказчика, чья искрометная интонация угадывается моментально, но и как автор повести «Жилой», где через биографию и памятные подробности оживает прошлое, потерянное в реальности неумолимого времени, но сохраненное сердечной памятью навсегда.

